

Бывают обстоятельства, когда слова бессильны и неуместны.

И это именно тот случай.

Можно написать стандартное: мы понесли невосполнимую утрату. И: после тяжелой и продолжительной болезни... Да, все это, действительно, так. Но не совсем, потому что тут дело шло на поправку и, казалось, вот-вот и Лена появится на еженедельных собраниях студии «Молот О.К.», вначале, как наблюдатель, потом, как соучастник наших регулярных дебатов и арбитр, а позже и как ведущая занятий, что у нее очень хорошо получалось. Мы надеялись и терпеливо ждали. Казалось – вот-вот...

Но нет, этому не дано было сбыться.

Лены не стало в ночь с 30 на 31 декабря 2014 года.

## Памяти Лены ЧЕРНЯЕВОЙ

*Черняева Елена Михайловна родилась в Тбилиси. Окончила филологический факультет МГУ (1981) и московскую студию пантомимы «Арлекин». Работала педагогом, корреспондентом тбилисских газет, была редактором альманаха «Мансарда».*

*Известный в Тбилиси культуртрегер, в активе которого стихи, проза, эссеистика, переводы с грузинского, авторская песня, работа с молодежным лито «Молот О.К.». По ее инициативе при объединении был создан театральный кружок, где Елена давала уроки актерского мастерства. Автор, режиссер и участник ряда литературных спектаклей.*

*Публиковалась в местных и зарубежных*

*литературных изданиях: «Литературная газета», коллективные сборники «Многоликая страна» (в переводе на грузинский язык), «В поисках Золотого руна», «Плеяда Южного Кавказа», «Перекрестки», альманахи «Музыка русского слова в Тбилиси», «Мансарда», «На холмах Грузии», журналы «АБГ», «Русский Клуб», «Русское поле», газета «Лист О.К. АБГ».*

*Автор двух стихотворных книг: «Антенны земли» (2001) и «Когда» (2007).*

*Подготовлена к печати книга прозы. За заслуги в развитии русской культуры и литературы награждена грамотой Российского Посольства в Грузии.*

**Выпуск полностью посвящен творчеству Елены Черняевой.**

За рамками публикации остаются журналистика, и, конечно, театральное творчество Лены – от драматургии до постановочной и актерской работ. Так, например, по причине внезапной болезни, до зрителя не дошел задуманный, инсценированный и срежиссированный спектакль по стихотворной книге (венку сонетов) Ильи Зданевича (Ильязда) «Приговор безмолвный», поставленный при участии студийцев лито «Молот О.К.»

А еще авторские песни, которые, несмотря на все наши уговоры спеть на публику, остались звучать на единственном, записанном в домашних условиях, диске.

## Из сборника «АНТЕННЫ ЗЕМЛИ» (2001)

### ПЕЙЗАЖ

Сигналы звездных рук нечутки, злоба  
Роится в улье, золотом играя.  
В припухших от весенней пробы  
Губах дерева ветки расплетают.  
Перегибает мост каленых звеньев  
Тупые вычурности, в день вращая,  
И, развалясь всей многолетней ленью,  
Дома рисуются, друг друга избегая.

### КОСМОС

Бессонной тканью льет кувшин небес  
Дар блесков, падающих на ребро земли,  
В бездарности антенн коротких лес  
Ловить не может позывных пунктир.

И падает в безмолвие паук,  
Чья паутина ткется из пустот,  
Которые в сознании растут  
И совершают тайный поворот.

\* \* \*

Синий сад среди розовых стен,  
Серебристое веко жилища  
Приоткрыло свою полутьму,  
Где светло и прозрачно, и чисто.  
И покажется: что-то всерьез,  
А чего-то не надо бы вовсе.  
Но от этих ребяческих роз  
Убежать в бесконечное просто.  
Заболеть, задохнувшись слегка,  
Этим вечным, беспечным недугом...  
Но – зима на планете, зима.  
Это – ты... Что нам делать друг с другом?

\* \* \*

Когда пунктиром по асфальту  
Пройдется вихрь, и воздух чист,  
Поставит нежную заплату  
Под грудь левой желтый лист,  
И пепел ласково истает,  
Мне пальцы вымарав слегка,  
И не поверю, будто правит  
Всем этим жесткая рука.

### ПИСЬМО

Ласковое и печальное,  
Слово звонкое, далекое.  
Ты всегда такое тайное  
И такое однобокое.  
Нам, страшась тебя, не веруя,  
Заплетать другие в изгородь,

Чтобы память гроздьев спелые  
Не рассыпала на пристани...

\* \* \*

Как скворца залихватское счастье  
Из скворечни прольется в низины,  
Как вверху расплескается праздник,  
Вдруг подумать наивно: «Марина»...  
А потом, разлетевшись ребенком  
По асфальту, что иссиня-черный,  
Плыть, как легкая лодочка-джонка,  
Жить – невольню.

### ВЕСНА

Ток планет и братство узников  
В зелень бьют, что отштампована  
Заново в небесной кузнице  
И назойлива, как хроника.  
Временные, окаянные,  
Серпантинные безглазия,  
Знойной киноварью пьяные,  
Разлетаются в безумие.

### ОСЕНЬ

А листья падают издали всегда,  
Когда завянет в небесах листва иная,  
Летят, но жестами паденье отрицая,

И падает в ночах земля тугая,  
В мирах лишь одинокая звезда.

Мы все падем. В руке желанье пасть,  
В тебе, в другом: есть тяготенье в каждом,

Но нежен Он, и для него так важно  
В руках своих паденье удержать.

\* \* \*

Ни жестокость, ни злоба, ни месть  
Не гнездились во мне, не хотели.  
Кто-то ждал, уготавливал крест,  
Кто-то все использовал веру.  
Я привыкла, стерпелась, сжилась  
С тем холодным, что вилось у сердца,  
Я однажды себе поклялась  
Рук в миру не протягивать первой.  
И ушли доброта и любовь,  
Ожиданье небесного света,  
И остались железных замков  
Беспощадно-пустые коленца.  
Я изверилась. Как я могла!  
Мир вставал в ожидании рядом,  
Я тебя из пустыни звала –  
Ты ко мне пробирался из сада.

## Из сборника «КОГДА» (2007)

\* \* \*

До слез у горла, ветреной погоды,  
до дней, решивших быть такими,  
что позабудешь тихий сон и Бога,  
сыграть ва-банк без парика и грима.

Сыграть ва-банк без парика и грима,  
готовлюсь выйти к стартовой площадке,  
и труден воздух завтрашнего мира,  
и безнадежны жесты рук, и сладки.

И безнадежны жесты рук, и сладки...  
Платок у горла пережав, заплакать...  
Я в дверь стучусь, но дверь мне не открыли...  
Готовность тела без любви стать прахом...

Готовность тела в энтропии страха  
сыграть ва-банк без парика и грима,  
и безнадежны жесты рук, и сладки,  
и труден воздух завтрашнего мира.

### ФЕВРАЛЬ-АПРЕЛЬ

Позвал. Глаза, опять глаза,  
из неба выпавшей синицей.  
Сказали же, что жизнь – вокзал,  
а мы чуть что, так сразу – птицей.  
Запечатлелся в нас февраль  
какой-то глыбой неподъемной,  
раскованней бы, разветвленной,  
размашистей. Не вышло – жаль.  
Хоть тонкой ниточкой апрель  
зашьет прорехи, вскроет складки,  
куда-то открывалась дверь,  
да не открылась – вот загадка!  
Вдруг фокусник из рукава –  
все сразу: нежность, пониманье  
и то, что вовсе не ждала,  
чему не подберу названий.  
И в каждом слове – крыльев взмах,  
глаза опять, как две синицы,  
и фокусник из рукава  
все отпускает в небо птицу,  
и птица падает, а я  
пока лечу, пока – в апреле,  
но приближается земля,  
кусты, сиреневые тени...  
Пора. Немного потолочь  
осталось эту воду в ступке,  
забуди. Теперь мне имя – ночь,  
глухое, знаешь, время суток.

### КОСТЕР В САДУ

А знаешь, там костры горели,  
уже костры,  
раскинутые руки стыли,  
цвели мосты.  
Суровой ниткой зашивают,  
натянут трос,  
ромашкой, ласточкой, печалью  
наполнен свод.  
Куда ты? Господи, останься!  
Горят костры...  
Сквозь зелень пламенеют страсти  
уже – цветы.  
Захватанные липкой грязью  
в дверной проем,  
как накануне зла и счастья  
твой жест – о нем.  
О том, что накануне жизни –  
еще не жизнь,  
но ласточка, печаль, ромашка –  
куда ни кинь.

\* \* \*

Какой-то заговор предметов,  
какой-то не такой расклад.  
Куда-то вбок уходит лето,  
перебирая все подряд:  
машины, мусорки, окурков,  
дым от костра, траву, асфальт,  
паучьи лапки и суглинок,  
раззеленевший чей-то сад.  
И вдруг – раздвинутое небо,  
такое нежное – хоть плачь,  
торжественное, как молебен,  
зовущее в себя упасть.  
Любовью, воздухом, искусством  
врастают крылья в плоть, и вот –  
на прежнем месте станет пусто,  
я – там, я поняла полет.

\* \* \*

Ну, разве что немного хлеба,  
а, впрочем, тоже пустяки...  
Чужие праздники не греют,  
чужие горести – легки.  
Все ждешь, когда за поворотом  
откроет море свой накат  
или прохожего короткий  
заденет пониманьем взгляд.

Совсем чего-нибудь д р у г о г о  
так ждешь, надеясь на «авось»,  
и только слово, снова слово,  
как в небо брошенный вопрос.

\* \* \*

Наполнить горечью стакан,  
когда в природе беспорядок.  
Сыграть этюд, в проем окна  
залить закатный отпечаток.  
Так снова жаль всех этих рук,  
бессильно вытянутых к небу,  
но так легко твердить урок,  
что жизнь – бессмысленная небыль.  
И по заезженной стезе,  
пока не грянула расплата,  
идти и – вязнуть в борозде  
и жить, и плакать.

\* \* \*

Почти совсем уже понятно,  
почти готов уже ответ,  
каким там яростным и внятным  
рисуеться нездешний свет.  
И как бы выдвинуть за рамки  
все эти «здесь», «зачем», «когда»,  
чтоб окунуться без оглядки  
в ничто, в нигде и в никуда,  
чтоб раствориться, рассветиться,  
отринув этот вещный плен,  
да друга жаль – ему не спится  
почти совсем.

\* \* \*

По жизни черствой и бездарной  
не выплывешь – пустая спесь.  
Закрой глаза. Пусть лечат раны  
любовь, природа, чья-то лесь.  
И в благодарность провиденью  
за то, что сдохнешь, но не счас,  
рисуй, рисуй свои виденья,  
кому-то нужные на час.

\* \* \*

Как будто надо что-то понимать,  
когда и так все ясно с полпечали.  
Мы – были. Остальное – лишь детали,  
Мы – будем: просто надо подождать,  
когда – закат, когда – иные дали,  
когда все – в море капель и т. д.

Стакан воды... да, и стакана – ждали.  
Не девочка, но – Галате-  
я – я.

\* \* \*

Яволь. – Сгоревшей голубятней,  
коровником на сто коров,  
патрицианкой злой и странной,  
или – совсем наоборот.  
Сей город, жаром многопуден,  
Разбит, как пулею доска,  
и жирных обелисков студень –  
печатью на лице глупца.  
Как танцплощадка после бури,  
все неуместней свет и гром,  
пока петух the grill не клюнет –  
все ждем-пождем.  
Достроим парусник, ведь ближе –  
репейника и рукава,  
пока в затылок нежно дышит  
с галер судьба.  
Пока так хочется (не думай,  
я – не о том),  
пока играет этот струнный,  
пока мы мо-  
Мы сможем, захотим, мы будем –  
Futurum айнц.  
Румянцем тайным тронуть скулы  
хоть – мертвеца.  
Разбередить в стене окошко,  
сместить пазы,  
пускай беспомощно и в плоскость,  
пускай – азы.  
Пускай сгоревшей голубятней,  
зато – своей.  
Так густо, яростно, невнятно,  
как льнет репей.

\* \* \*

Хотела б жить в мансарде угловой,  
спускаясь в сад, где заросли колючек  
и шум реки, и каменная круча,  
и луч, скользящий в дымке золотой.  
Деревья встали б грубо, на века,  
и были бы иные звуки глуше,  
и, проносясь сквозь пыль и облака,  
пронзали б мне ветвями душу.

\* \* \*

Пространства, дни, колокола забот...  
Мы выйдем в лето, мы станцуем небо,

любви выпрашивая у судьбы, как хлеба,  
по улицам распробуя полет.  
Искомое число, наверно, пять,  
а может – семь, а может – единица  
в том измерении, что не воздаст сторицей,  
в том колесе, что не раскрутишь вспять.  
Слепой глухому говорит о цвете,  
но надо всем опять горит закат.  
Нам кажется – мы возвращаем сад,  
но, может быть, лишь думаем о лете.  
За все, что в нас – великая награда  
кольца из рук, разомкнутых давно.  
И хочешь пить – да пролито вино,  
и ждешь всего, но – ничего не надо.

\* \* \*

Холодный человек во мне живет.  
Когда пою, он тайно рассмеется,  
когда люблю – ледышкой сожмется  
и дышит в грудь, царапает и жжет.  
Холодный человечек не оттает,  
он ждет весны, чтоб засмеяться тихо,  
и, с шепотком тоскующим и скрипом,  
кулак сожмет и в грудь меня ударит.  
Я не хочу напрасных ожиданий:  
коль он живет – приноровлюсь, стоскуюсь.  
Но ты к чему ведешь меня на праздник,  
узнавший мир и полюбивший мудрость?

\* \* \*

Когда во мне Татьяна умерла,  
что, в общем-то, кажись, непоправимо,  
сначала я расстроилась: свела,  
наверно, я сама ее в могилу.  
А может, добры люди помогли –  
в ответе за душевное здоровье—  
ее, гордячку, быстро схоронить,  
которая не повела и бровью.  
Но все сложилось, под конец, не плохо:  
не надо чайкой брошенной рыдать,  
не надо Катькой бегать по острогу,  
и Аннушкой под поезда сигать.

\* \* \*

Возникнуть в травостое, с ароматом  
чуть горьковатой, высохшей травы,  
в воде меж пальцев, в облаке крылатом,  
во взгляде нежности и колкости зимы.  
Возникнув, спеть, спружинить, раскататься,  
взлететь туда, где все – еще светлей,

потом уйти, чтоб снова возвращаться  
из паводков, из песен, из путей.

\* \* \*

Так просто выйти в этот сон,  
в снежок, асфальт, зимы убранство,  
изменчивость и постоянство  
в любви, в бессоннице, во всем.  
Так просто выйти в эту дверь  
сквозь руки, прутья, мысли, лица,  
сквозь век и год, и день пробиться  
куда-то... где стоит апрель...  
Где мы еще не понимаем  
своих поступков и чужих,  
где не написан главный стих,  
и ждет мелодия простая.  
Но все равно, зима – как срок  
для глаз, не позабывших лета,  
ловивших нежность дня и света,  
так просто – выйти за порог.

\* \* \*

Стволов надежная опора  
удерживает неба край,  
но красный яблоневого голода,  
что падший рай.  
Они лежат – земле, как смерть, чужие,  
Хоть жадно ждущие: найди, возьми!  
так празднично и праздно налитые,  
телами врывшись в волосы травы.

\* \* \*

Сидишь – и краем глаза видишь:  
вот край листа,  
где золотые обелиски –  
слова блестят.  
Кронпринцем, сгнувшимся в Балканах,  
помехой, нет,  
верблюдом тяжким с караваном –  
тебе вослед.  
Как немощная попрошайка:  
все слов да слов.  
А попросить бы кроху счастья –  
всего делов...  
Да нет на айсберге зимовки,  
В избушке – дров.  
Нет в словаре надежной строчки  
и нужных слов.

\* \* \*

Горят стеклянные осколки –  
печать огня,  
из предвечерних кривотолков  
творят меня...  
Небесный парус укрывает  
пыль бытия,  
древесным соком запивает  
свой ток земля.  
Лист тополиный затрепещет,  
блестящ и груб –  
практическое воплощение  
небесных губ.  
Все принимать без укоризны  
трава велит,  
и морщит линиями жизни  
ладонь земли.

\* \* \*

Пространства, дни, колокола забот...  
Мы выйдем в лето, мы станцуем небо,  
любви выпрашивая у судьбы, как хлеба,  
по улицам распробуя полет.  
Искомое число, наверно, пять,  
а может – семь, а может – единица  
в том измерении, что не воздаст сторицей,  
в том колесе, что не раскрутишь вспять.  
Слепой глухому говорит о цвете,  
но надо всем опять горит закат.  
Нам кажется – мы взращиваем сад,  
но, может быть, лишь думаем о лете.  
За все, что в нас – великая награда  
кольца из рук, разомкнутых давно.  
И хочешь пить – да пролито вино,  
и ждешь всего, но – ничего не надо.

\* \* \*

Так просто выйти в этот сон,  
в снежок, асфальт, зимы убранство,  
изменчивость и постоянство  
в любви, в бессоннице, во всем.  
Так просто выйти в эту дверь  
сквозь руки, прутья, мысли, лица,  
сквозь век и год, и день пробиться  
куда-то... где стоит апрель...  
Где мы еще не понимаем  
своих поступков и чужих,  
где не написан главный стих,  
и ждет мелодия простая.  
Но все равно, зима – как срок  
для глаз, не позабывших лета,  
ловивших нежность дня и света,  
так просто – выйти за порог.

## ИЗ СТИХОВ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

\* \* \*

век асфальтовый, книжная  
пыль на развалах,  
сталь летает по небу, а в теле – тоска.  
и горячечный сон – здесь мерило накала,  
а вода гарантирует примесь песка.  
в чашке кофе – тщета бесполезных усилий,  
нам кивают чужие, как пропасть, дома,  
здесь любовь – безымянный, накаченный киллер,  
что стреляет в того, кто лишился ума.  
эти кони в бреду с голубого экрана,  
сквозь наречий чужих горловой перехват,  
подожди, подожди! так болит еще рана,  
так саднит еще взгляд.  
и, цепляясь за выступления злого упорства,  
разнимая наш общий канат на разрыв,  
так хотелось узнать: вся затея – не просто  
слов приманчивый с горя мотив.  
плюнь на все! нам не сладить ни с часом, ни с веком.  
поцелуй за меня золотого коня,  
возвратись, подойди, разведи это эхо.  
что сказать мне еще,  
чтоб ты понял меня?!

\* \* \*

возле сна деревьев на травах  
предпоследней бабочкой света  
я стою и вижу победа  
предъявляет когда право  
ты живой и возле я просто  
этот пламень и эта гибель  
так хотелось в ответ можно  
но смогло что раньше и ближе.  
на равнинах старанием полных  
возле гор чернеющих с крови  
ничего не надо бы болью  
и не хочется в сладость соли.  
не в ответ небесному горлом  
проигравший здесь не осудит  
чтоб стоять заведомо с комом  
синеву глотая как студень.  
пережги меня передумай  
оторви сквозные ладони  
я еще а ты многоумен  
я совсем а ты по-сторонний.

и когда не надобно будет  
ни в ответ ни в память ни в ласку  
закружи метельною вьюгой  
чтобы в синем  
и насквозь прекрасном.

## СОН

Вокзальный, нет, привокзальный...  
приречный, нет, приземной...  
Приземистый, нет, печальный,  
дарованный, нет, чужой.  
Где вполоборота профиль,  
глазами пробит киоск,  
и где проводник и профи  
подскажет про Тверь и Моск-  
ву. Ничего мне не надо.  
Путейщик обходит вагоны,  
стучит и фонариком светит,  
а с дальнего перегона  
подходит черный товарный.

\* \* \*

Я пробираюсь в чашу, папоротник щекочет  
мне плечо и колено.  
Дальше будет, наверное, озеро Неро,  
но это совсем ничего не значит.  
Потому что соль проступает в сланце,  
потому что горят на солнце глаза рептилий,  
потому что хлеба нет в моем ранце,  
потому что отпуск земной продлили  
те, кто ведают, вроде бы, этим делом.  
Как бы мне сейчас увидеть цветущий,  
раз в году цветущий (или в столетие целое)  
папоротник, из земли растущий?  
Это так же трудно, как понять слово,  
как сказать слово, как спеть фразу,  
как придти, наконец, к твоему дому,  
как увидеть папоротник в твоём доме,  
и понять, наконец-то, понять все,  
сразу.

\* \* \*

...и строгое, как осязанье вещи,  
еще не нужной, но уже вошедшей  
в привычный круг, недвижимый и простой,  
приходит чувство вечности. И зной  
вдруг опаляет ум и тело.  
И то, что раньше жгло тебя и грело,  
теперь не теплится. Не стоит ничего.

Прозрачен голос зла,  
и – нет его,  
как нет добра, как нет пристрастия к телу,  
опального огня рука задела  
лишь край,  
и опалился он.

Рисунок дня – чертеж судеб на белом,  
но яблочного зноя блещет спелый  
и вечный зов в крови – «бывай, еще бывай».

\* \* \*

Вникни, здесь не бывает песочных часов,  
потому что не хватит песка на всех,  
не бывает искренних голосов:  
голоса гарантируют общий успех.  
Можно спать, можно, проснувшись, решить,  
что тебе важно: разведка? Бой?  
А потом остаться в квартире и жить,  
пока не поймёшь, что уже седой.  
Вникни, это зовётся здесь – жизнь,  
хотя, если хватит её мне на пару строк,  
я всмотрюсь туда, где твоя отчизна,  
но про это ты сам всё знаешь, Бог.

\* \* \*

В этом городе нет меня.  
А в стране этой – города нет.  
На планете – такой нет страны.  
И планеты нет среди планет.  
Но когда существую я,  
может, просто – города нет,  
нет страны и планеты,  
но  
остальное-то – точно есть!

\* \* \*

Что ж, это все так приходит однажды:  
ветер, одышка, паленая шерсть,  
птицы из Рима и нежность, и жесть,  
карлики, монстры, в заплатах одежды,  
сны, перелетные голуби дней,  
якорь последнего (господи) взгляда,  
(если – не да, то, понятно – утрата,  
если – никак, то катись поскорей).  
Правда откроется, море прольется,  
кто-то кому-то сквозь кровь улыбнется,  
выбьется, вырвется, снова начнется:  
смыслом играя, рифмуя, стыкуя  
память и нервы, себя и кого-то,  
дерево, птичку, любовь и уroda,

быдло, надежду и хляби без брода.  
 Так это все приходило, взыскуя  
 к жизни, что просто пытаешься жить,  
 к телу, которое вкривь разлинуют,  
 черные ветлы, жестокий уют,  
 старость и страсть, и опасность, и прыть.

\* \* \*

Рукой подать до моря.  
 Но придется  
 сидеть в жаре,  
 дышать растертой пылью.  
 Чужие корабли придут и встанут  
 здесь на постой.  
 На новенькой, с иголки, границе  
 с тебя сдирают лепту лишь за то,  
 что ты не выбираешь, где родиться.  
 А после – штамп поставят:  
 что чужой.  
 Но ты люби ее. Свою, чужую.  
 Незванный гость, татарин, басурман,  
 пророк в отечестве, которое рискуешь  
 забыть, как сон, как утренний туман.  
 Люби и не ропщи, когда возникнет  
 над горизонтом, над чужим жнивьем,  
 над нашим осторожным, окрыленным –  
 небесное, живое, неизвестно что.  
 И ты поймешь, что родина...,  
 как милость.  
 Рукой подать до неба,  
 чтоб приснилась  
 она.

\* \* \*

Куда ты? С орхидеями в кармане,  
 по грязным улицам, где вечные раскопки  
 канализационных труб.  
 Там «Мерседес», здесь – «Опель» или «Хонда».  
 И туповатый взгляд бродяги с полным  
 мешком бутылок – Санта Клаус, ты ли?  
 «Стой, кто идет!», – прикрикнут на границе.  
 Воде из крана, слава Богу, литься,  
 еще не все потеряно, в дорогу  
 собираются последние стрижи.  
 Еще не все забыто, мостовые  
 не вымощены заново, хотя,  
 нас помнят, но детей – забыть хотят.  
 И город вечно от людей в отрыве:  
 то жмет вперед, то падает – назад.  
 И осень... да, и – осень, будто сука,  
 враз потерявшая слепых кутят:

то взвоят, бросится за поворот, то руку  
 шершаво лижет, просит все вернуть назад.  
 А ты все – с орхидеями в кармане...  
 А ты все хочешь, чтобы жизнь – со смыслом.  
 Помнешь ведь, жалко будет всем, ей Богу!

\* \* \*

Пока игрушечный Ватто  
 развлечь пытается гламурно,  
 легионеры жгут лазурный  
 трактат о «совесть и число».

Поет за кадром соловей,  
 тревожа губы Моны Лизы,  
 и заликает антифризом  
 словарь свой грустный грамотей.

Играть в пятнашки с каждой тварью,  
 чтоб сделать ход конем, траву  
 не смяв, в почетном праве  
 живое племя от Иу...

А мы – как мы, ни здесь, ни там,  
 навек испуганы прогрессом,  
 начетчики, в делах повесы,  
 герои только по утрам.

Уже ли нам сулил удачи  
 бессменный календарь побед?  
 Спит смертный кесарь, пьет и плачет  
 бессмертный, в общем, смерд.

\* \* \*

Пальцами, унявшими собственную дрожь,  
 пальцами, разъявшими небо и нужду,  
 пальцами, ронявшими листы, где ложь,  
 пальцами – по клавишам. Небо за версту  
 пахло невозможностью, брызгало наркозом.  
 Версты шли навстречу, налетали грозы.  
 И стекала с клавиш черная надежда,  
 белые пустыни, нищие одежды.  
 Яд всегда – один на всех, это, ведь, понятно?  
 И одна вода, и земля, и соль.  
 Вот и бьешь по клавишам, пишешь внятно  
 пальцами, готовыми на все, на все.

\* \* \*

Да, тебе лучше спрятать голову под крыло,  
 сделать вид, что все это – не про нас.  
 Вот и я устала быть тем стволом,

что поддерживал небо на час.  
 Той лошадкой, что готова пахать всегда,  
 какой бы ни выпал год,  
 ручной обезьянкой, по пустым городам  
 бродившей с тобою вброд.  
 А сейчас приходит к нам зелень воды,  
 приплывает Левиафан.  
 Он горит и дышит, тянется до звезды,  
 он никогда не узнает про кран.  
 И теплая эта нахлынет вода,  
 когда еще будем спать,  
 сырую нежность отдаст городам,  
 еще будем мы здесь когда.  
 И я увижу тогда (в окулярах двойных  
 уже будут мои глаза),  
 что это вовсе не ты, но твой неверный двойник,  
 он забрал твой голос, он к обману привык,  
 он меня к себе привязал.

\* \* \*

Чествуй меня, чествуй, попросту – понимай!  
 Это все – облака, а не заоблачный край.  
 Это все – белая пелерина, детские голоса.  
 Так хорошо бы нам было с тобой – да вот, десант.  
 Выбросился, пробрался через поле и лес, вбежал  
 в нашу квартиру, в чернильных кляксах  
 школьный пенал.

И говорят теперь все, разные, так говорят вокруг:  
 какие они незрелые, все книжки листают, врут.  
 Сами себе врут, что жизнь будто бы не прошла,  
 будто есть еще порох, и есть, прости Господи,  
 наши дела.

А мы, если и врем, то это – так, для отвода глаз,  
 для тех, кто стоит за дверью, кто кормит страх,  
 для тех, кто смотрит, чего бы у нас еще взять,  
 хотя уже взяли почти что все, оставили только пядь.  
 А мы, если и дышим, то только лишь в унисон,  
 если и спим, то видим один на всех сон.  
 А Бог, говорящий на разные голоса,  
 через громкоговоритель шлет нам  
 последний приказ.

Он говорит: живите покуда, живите, занят я.  
 Он не знает про время, он посещает детсад.  
 Вот и говорю тебе: чествуй меня, понимай,  
 вот и беру тебя за руку – чем же не рай?  
 Волглое небо, ветвистые облака,  
 дважды в день каплют салом небесные окорока.

\* \* \*

Ну, вот, посмотрела окрест.  
 Рукавом взмахнула, как речка,

как речка, что отворила  
 свои поющие воды.  
 Посмотрела окрест: провинция,  
 лежит себе, дышит в подушку,  
 собирает перо для перины,  
 готовит на зиму склянки  
 с кисло-соленой снедью.  
 Ездит на черных машинах,  
 а иногда на зеленых,  
 но чаще – на серебристых:  
 это довольно престижно.  
 Хотя, посмотреть на речку,  
 которая все уносит,  
 которая крутит мусор  
 в черных водоворотах.  
 Хотя, посмотреть на небо:  
 оно-то, оно-то дышит  
 нездешним дышит, не нашим,  
 ну, чтой-то там наверху?  
 Но если встать очень прямо,  
 расслабиться, выпрямить плечи,  
 потом осторожно так, тихо  
 через плечо обернуться –  
 увидишь (если успеешь),  
 увидишь (если везенье  
 на этот раз не покинет),  
 как нежные ждут сады.

\* \* \*

...Я попыталась, было, быть травой,  
 чтоб не мешать тому, что есть простор.  
 Но от него последовал укор:  
 «не будь травой, не повышай надой,  
 забудь свой план смешной».

Я попыталась снова – стать окном,  
 чтоб, поглядев в меня, остался друг.  
 Но не остался: был сплошной испуг,  
 «ты так квадратна, мне любезней круг,  
 хотя, вообще-то, знаешь, все – дурдом.  
 Не будь окном».

Я сделала попытку стать стеной,  
 и серость неприступную растя,  
 не пропускала без нужды в себя,  
 всем говорила: здесь опасность, стой!  
 Блюла покой.

Я пробовала сотню раз потом,  
 я пережгла на кухне провода,  
 словами «вечность», «счастье» и «беда»  
 обклеивала стены. Как всегда,  
 был терпелив мой дом.

Ну, а ему хотелось кушать борщ,  
 смотреть в окно, которое в стене,

любить пейзаж, точить кухонный нож  
и видеть луг, что в чертовом окне  
вполне заполнен правильной травой.  
Я ж не была – такой.

\* \* \*

Оказывается – невозможно так просто спеть.  
Неприменно надо кого-то в виду иметь.  
Кого-то с глазами в полнебосвода, в пол-лица,  
теплого, как подушка из-под младенца-отца.  
Жаркого, как животное в лихорадке. Больной,  
он мне покажется лучше, окажется – свой.  
А так хотелось – про то, что мир начерт\а поделен,  
про то, что всегда все плохо, кто бы ни сел на трон.  
Про то, что воры воруют, а ввали врут,  
еще про многое там и немного – про тут.  
Только вот оказалось – невозможно спеть,  
ни в рифму, ни – так. Оказалось: ни медь – ни жечь.  
Оказалось, другие во мне голоса,  
невесомость, солнечная на стене полоса.  
Оказалось, берег, присыпанный серой крупой,  
и соленый ветер подгонит к ногам прибор.  
Вот и пой теперь, милая, пой про то.  
Несмеянный твой садится в чужое авто,  
покупает чай, съедает весь хлеб,  
ищет какую-то Жанну, использует стиб.  
И все тебе – не к лицу: ни голос твой, ни глаза,  
в микрофон смеются бисовы голоса.  
Ну, так что ж – рисунок, сангина, офорт,  
он немного ошибся, но в следующий – повезет.

\* \* \*

Жаркое из жарких стран. Латунная, лунная пыль,  
гравитация,  
мне бы, мне бы, мне бы – выйти из этой  
прострации.  
А то ведь пространство колеблется, ждет, рискует,  
хочет коллапснуть, дергается, что твоя  
пятниклассница.  
В истории смут –  
это только плевков, в истории чувств – это пятница,  
тринадцатое число.  
Сегодня отходит паром?  
Сегодня отходит паром, и лунная пыль оседает  
на наших яйцеподобных головках. Прощай-те,  
прощайте, прощайте,  
прекрасный ужасный идиот!  
Бом-м-мм!

\* \* \*

Всему виной – расхристанная осень.  
Всучила мне забытые, чужие,  
ненужные билеты на концерт.  
А он уж начинался. С ноты “ми”.  
С колючей, очень искренней, но пресной  
слегка распевки.  
Надо было слушать  
и надо было продолжать вести  
свой диалог с опустошенным небом,  
чтоб не хотелось раньше срока пасть  
на эту круглую, как боб, смешную землю,  
давно и прочно позабытую  
никем.

\* \* \*

Знаешь, я буду с тобой откровенна сегодня:  
мне снится твой голос.  
Голые ветки стучатся в окно, разлиновано небо,  
Здесь невозможно прожить, не поверив во что-то,  
и невозможно поверить – всем хочется хлеба.  
Здесь откровенность сочтут нелепой и грубой,  
надо любить здесь своих, ненавидеть – чужое.  
Надо носить платки и по праздникам – юбки,  
верить, что к смерти приязнь – это дело благое.  
Солнце мое не посмотрит уже на меня: я к нему  
опоздала,  
я соревнуюсь теперь с зеркалами – кто из нас  
старше.  
Жди меня все же на улице ждущих кварталов,  
там, где готовятся к праздничной встрече тени  
наши.  
Все я скажу тебе там, не скажу последнего слова,  
все остальное – скажу, скажу, что захочешь,  
лишусь покоя:  
что виновато время, страна, другие люди... Но  
снова  
я промолчу лишь о том, как мне хочется  
стать травой.  
Просто травой у ног, просто травой. Телу  
больше не нужно будет просить о ласке.  
Просто травой, которая под ноги стелет  
хрупкие влажные стебли – последний свой  
праздник.

## ВСЯКИЙ ЛИ АВТОР АУТИЧЕН?

Вот, записанный таким образом вопрос (возникший, кстати, у автора данной заметки в момент прочтения одной из статей «толстого» журнала по поводу современного состояния поэзии) вдруг обернулся таким перевертышем. И стал звучать вот как: «аутичен ли всякий автор?» Небольшое смещение смысла повернуло ход мыслей к тому, что вопрос о невписываемости иных авторов в современный контекст, невозможности актуализоваться и подняться до профессионального уровня заместился вопросом о качестве литературного авторства как такового. А, проще говоря, о том, что есть литературное творчество. Не претендуя на всеохватность столь объемной темы, хотелось бы поразмышлять над этим, ибо причастность, даже весьма скромная, к таковому роду деятельности неизбежно дает повод к подобным размышлениям.

Но вернемся к аутичности или, если следовать медицинской терминологии, аутизму<sup>1</sup>. Оставив в стороне клиническую картину заболевания, вспомним, что под аутичностью в литературоведческой литературе понимается замкнутость автора на себе, своих личных переживаниях, нежелание (подчас и невозможность) сопоставления своего личного творческого высказывания с современным литературным контекстом, что часто провоцируется как определенной (аутичной) средой, возникновение и бытования которой бывает обусловлено географическими, социальными и иными внелитературными причинами, так и индивидуальной судьбой отдельного автора и, как следствие, появление у данного автора (или группы авторов) дилетантских текстов. Замечу, что вопрос о наличии или отсутствии таланта здесь не рассматривается, как относящийся к сфере случайного и ничем, кроме генетики, не обусловленного. Кроме того, стоит отметить, что в данной заметке речь пойдет лишь о поэзии, и мы не будем касаться прозы и драматургии.

Стоит ли изобретать велосипед?

Ответ на этот вопрос вполне однозначен. Однако если вдуматься, то даже изобретение (заново)

пресловутого велосипеда никак не возможно без определенных технических знаний и навыков. Нельзя построить дом, не ведая о том, что есть кирпич и цемент, нельзя посадить дерево, не зная, как пользоваться лопатой, лейкой и т. д. Соответственно, нельзя написать стихотворение, не имея представления о ритмизованной, образной речи. Но, предположим, мы знаем о существовании такой речи. Напишем ли мы полноценное стихотворение или же займемся все-таки «изобретением велосипеда»? Очевидно, что не достаточно уметь «говорить в рифму». Также очевидно, что не достаточно рассказывать в рифму о своих личных переживаниях. Тогда о чем же, ведь это – стихи, возможно, удивится читатель. Сейчас назрела необходимость вспомнить о том, что есть лирика?

«Все особенности лирики, как рода художественной литературы, вытекают из того, что у нее есть свой, особый предмет идейного высказывания и художественного воспроизведения и что таким предметом в ней является характерность их (людей - Е. Ч.) социального сознания».<sup>2</sup>

Употребление в приведенной цитате таких непопулярных сейчас слов, как «идейный» и «социальный», нисколько не отменяют заложенного в ней смысла, поскольку отражение любого сознания в лирическом тексте не может быть абсолютно нейтральным, не привязанным к какому-либо типу сознания, равно как и сам поэт, автор является носителем определенных черт определенной общественной (социальной) группы.

Уникальность этого рода словесного искусства состоит в том, что поэт может говорить в лирическом стихотворении «я» или «мы» или просто пересказывать (перечислять) предметы, события, пейзаж, людей и впечатления от них, но во всех случаях это будет акт осознания (познающего сознания), происходящий здесь и сейчас. Лирика – это самый непосредственный из родов литературы. И, возможно, самый притягательный для непрофессионала: ведь достаточно, вроде бы, просто «рассказать о

себе» (благо, далеко ходить не надо – автор, вот он, любимый, рядом!), излить душу, вот и стихотворение!

Обратимся снова к теории. «С одной стороны, поэт сам испытывает свои переживания. А с другой стороны – сам осознает (их – Е.Ч.), сам может так или иначе познавательно их о с м ы с л и в а т ь, а отсюда и эмоционально о ц е н и в а т ь». <sup>3</sup>

«Значит, содержание произведений медитативной лирики не является прямым, адекватным выражением переживаний поэта, э м п и р и ч е с к и протекающих в его сознании. Если бы это было так, то медитативная лирика представляла бы собой психологическую ф а к т о г р а ф и ю. Тогда она имела бы значение только для самого поэта и его ближайшего окружения». <sup>4</sup>

Очевидно, что непрофессиональные авторы интуитивно осознают необходимость и потребность неких обобщений, но в силу того, что их языковые возможности ограничены (по разным причинам: недостаточной осведомленности в области литературы, отсутствия должного психологического, житейского, словесного опыта и др.), они прибегают к уже использованным, клишированным образцам, взятым либо из литературной классики, либо из авангарда начала XX века, причем, образцам, уже переработанным массовым сознанием. Поэтому они будто бы написаны каким-то одним человеком, точнее, неким усредненным, безликим автором. Они лишены индивидуальности, того, что может быть интересно нам, как читателям, и что составляет главную (наряду с непосредственным выражением внутреннего мира человека) особенность лирики, как рода литературы.

Итак, становится более или менее ясно, что для того, чтобы написать стихотворение, недостаточно, предположим, почувствовать красоту осени или боль от потери любимого (уходящих лет, иных житейских обстоятельств). Необходимо осознать, в чем уникальность этого чувства лично для тебя (автора) и найти для него индивидуальное, присущее только данному автору, образное и словесное выражение.

И совершенно особый разговор о том, что же следует чувствовать?

Странной такая постановка вопроса может показаться только на первый взгляд.

Снова немного теории: «Потенциально он (здесь

– лирический субъект. Е.Ч.) воплощает в себе всю целостность внутреннего мира человеческой личности, откликающейся на всю многосложность бытия и субъективно отражающую ее в себе». <sup>5</sup>

В одной интернетовской статье, посвященной критическому разбору современной поэзии на материале провинциального альманаха, автор вывел шесть возможных типов событий (в его понимании, фабулы) в лирическом стихотворении: «– аксиологическое событие значимое изменение по шкале «Худое Нейтральное Доброе» (= «Плохое Нормальное Хорошее» = «Ужасное Безразличное Прекрасное»)

– алетическое событие значимое изменение по шкале «Невозможность Возможность Необходимость»

– дэонтическое событие значимое изменение по шкале «Запрещённое Разрешённое Должное»

– плутономическое событие значимое изменение по шкале «Недоступное Доступное Обладаемое»

– специальное событие значимое изменение по шкале «Там Здесь Везде»

– темпоральное событие значимое изменение по шкале «Прошлое Настоящее Будущее»

– эпистемическое событие значимое изменение по шкале «Неведение Полагание Знание» <sup>6</sup>

При том, что автор местами путает фабулу с идеей литературного произведения, а подобную градацию осуществляет на примере явно слабых стихов, что не дает возможности проверить, насколько она универсальна, зерно истины здесь все же присутствует. Надо полагать, пафос его филиппики обращен все-таки не на фабулу, она, действительно, может быть повторяющейся, а на содержание стихов, несущее, как известно, в себе тему, проблему и пафос. Вот такие три кита.

И если тема стихотворения до оскомины проста, проблема (а, проще говоря – решение темы во взятых конкретных обстоятельствах) навязла в зубах избитостью, а пафос, т.е. идейная (не путать с идеологической) и эмоциональная окрашенность, ходульно нелеп и кричит о петушиной важности лирического героя, то стихотворение окажется малоинтересным, к какому типу не причисляй его событийный ряд.

Клишированность сознания может проявляться не только на уровне слов и затертых выражений типа «хрупкая мечта», «мимолетное счастье», «неумолимое время», «глоток любви», «туман сомнений», «водоворот измен», «сердце плачет», «бескрайние дали», «ночная тишь», «праведная битва», «сладкие терзанья», «дивная красота»<sup>7</sup> и т.д. и т.д. Клишированность возникает и на ситуационном уровне, и на уровне осознания себя в качестве лирического героя (героини), когда вместо индивидуального личного разговора о себе, живущем здесь и сейчас, переживающем абсолютно свое, ни с чем не сравнимое переживание, предлагается некий набор общих, как правило, красивых фраз, которые укоренились в бытовом сознании, как обозначающие некие абстрактные чувства: абстрактную любовь, абстрактное разочарование, абстрактное восхищение природой и абстрактную грусть по поводу абстрактного уходящего времени. Набор таких устойчивых и устоявшихся в сознании схем-переживаний достаточно невелик. Но для чего воспроизводить их снова и снова?

В современной критике, бывает, мелькнет то тут, то там фраза о поиске «новых смыслов», которыми должна будто бы заниматься поэзия. Определиться с новыми смыслами не просто. Поскольку абсолютно «новым» может быть лишь тот смысл, который нам передало бы существо, не присутствующее в нашем времени и наших обстоятельствах, иначе говоря, какой-нибудь инопланетный разум, то, значит, не новые смыслы, а углубление и обогащение уже имеющихся. Углубление за счет индивидуальности, переживающей эти «вечные» смыслы заново.

И в заключении хочу привести стихотворение нашего современника, замечательного поэта Юрия Кублановского о природе стихотворства, как он ее понимает. Стихотворение, несмотря на его значительный объем, не могу не привести полностью.

*Ну, не какой-нибудь залетный небожитель  
непотопляемый, а без обиняков  
я слова вольного дружбан, верней, гонитель  
его в столбец стихов.*

*Вдруг ветерок крепчал, едва все удавалось  
в четверостишии, блаженный, беговой –  
так слово вольное, таясь, перекликалось  
с другим в строке другой.*

*Не потому, что там вдвоем им стало тесно  
от тавтологии, а чтобы в аккурат  
их перечла вдова, запомнила невеста  
и одобрял собрат.*

*Чтоб с белого холма мерещилась излука  
с незаживляемой промоиной реки.  
Ведь слово вольное – надежная порука.  
И дали далеки.*

*Так живность лепится к жилищу человека,  
считай, ковчегному, поближе в холода.  
И с целью тою же на паперти калека  
сутулится всегда.*

*Когда смеркается – смеркается не сразу.  
Пока окрестности становятся тусклей.  
Как бы холодных горсть сжимаешь до отказа  
рассыпчатых углей.*

*Нет, весь я не умру – останется, однако,  
мерцать и плавиться в глазах в мороз сухой  
последний огонек последнего барака  
на станции глухой.*

Ну, а как же наш вопрос о том, аутичен ли всякий автор? Полагаю, что да. Чтобы написать стихотворение, надо, как минимум, погрузиться в себя. Чтобы написать хорошее стихотворение, надо, хотя бы на время, забыть об общепринятых устоях и нормах, правда, только лишь в литературе. Конечно, в столь краткой заметке не может быть полного охвата такой серьезной темы, как литературное творчество.

Тема лишь пунктирно намечена, проблемы лишь слегка обрисованы. Но ведь назвать хорошее хорошим, а дурное дурным – тоже дело.

---

<sup>1</sup> Аутизм – психологический и медицинский термин, используемый для обозначения, как психического расстройства разных степеней тяжести, так и несклонности (или даже неспособности) индивидуумов иметь контакты с окружающими, согласно общепринятым устоям и нормам. Википедия.  
<sup>2, 3, 4, 5</sup> Г.Н. Поспелов «Лирика».  
<sup>6, 7</sup> В. Директорский «Фабула лирического стихотворения» Самиздат.

## ШАНС ЕСТЬ: ПОЭЗИЯ КАК ЖИЗНЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

Точка в конце предложения, конечная станция по пути следования, путь, имеющий концовку, определенность контуров жизни.

Скучно? Да и не в скуке тут дело. Многозначность человека и его сознания не позволяет возобладать завершенности ни в чем, как нельзя очертить контуры воздуха или огня, как нельзя зафиксировать время, хотя все мы осознаем и чувствуем, что оно есть.

Столь пространное отступление мне захотелось написать потому лишь, что речь пойдет о том странном феномене работы человеческого духа, каковым является поэзия.

Великий предтеча, Иннокентий Федорович Анненский, вынес вопрос «что такое поэзия?» в заголовок своей статьи, отвечая, впрочем, парадоксально: «Этого я не знаю».

Декларированное незнание в данном случае равно ответу, потому что всякая определенность при определении (!) этого феномена чревата той «обрезанностью» (Анненский), неполнотой и неточностью, какие неизбежны при любой констатации.

И все-таки, все-таки...

Отбросим сразу академически сухие высказывания типа: «художественное творчество в стихах» (Словарь литературоведческих терминов) или: «Лирика \здесь – поэзия. Е. Ч.\ – это издавна установившееся обозначение одного из трех родов художественной литературы» (Г.Н. Пospelов «Лирика») и попробуем помыслить о поэзии, как о способе завоевания (не побоимся этого слова) некоего духовного пространства, не освоенного донныне другими областями человеческого знания, и не только знания. Чего еще? Интуиции, прозрения, прорыва – назовите как угодно – суть останется: поэзия – особое состояние духа, души, передаваемое часто словами, но чаще – между слов, на границе смыслов и пониманий. Именно – пониманий – в первую очередь. Каждое произведение искусства создавалось для себя. В то же время, ни одно произведение искусства не писалось (мы говорим сейчас о словесном выражении) без обращения к другому и без затаенного желания быть прочитанным, понятым (приблизенно через лирическое «я» – к человеческому). (Здесь – и бытийная диалогичность \т.е. присущая бытию\)

М.Бахтина, и «я» и «не-я» И. Анненского в контексте его понимания поэзии.

К чему же стремится, что осваивает человек-творец? А то, что любой человек способен к творчеству, доказать не трудно. И лишь от уровня его психического и умственно-этического развития

зависит конечный результат такого действия. Существовая в вечном диалоге (по Бахтину), человек, далекий от искусства, творит на бытовом уровне: здесь все достаточно просто – рассказанный анекдот, высказанное пожелание, поступок, жест, красноречивое молчание, смех, крик и тому подобные коммуникативные средства создают в собеседнике некий информативно-эмоциональный образ другого человека, повествуя не только о его деятельности, но (и это поставим на первое место) о его личностной неповторимости. Будь это не так, люди, далекие от собственно творческих профессий, довольствовались бы передачей друг другу голых фактов, эмоционально не окрашенных информационных блоков и были бы наподобие киборгов.

Итак, человек-творец обращается к другому человеку-творцу в надежде приблизить свое «я» к «я» другого, чтобы срезонировать с ним. Для чего ему это нужно? На бытовом уровне – чтобы выйти из одиночества своего сознания и выжить. Но мы говорили о некоем завоевании духовного пространства, а этот путь лежит уже вне простого выживания и затрагивает собственно поэтическое мышление.

Начнем издалека и, что называется, с азов: классическое и общеизвестное стихотворение Пушкина «Я вас любил...»

Если передать непоэтическим языком заложенную в нем информацию, то получится следующее: «Несмотря на то, что я продолжаю испытывать к вам неадекватные чувства, именуемые любовью, несмотря на то, что я не сообщил вам об этом, опасаясь быть отвергнутым и ревнуя, вам не о чем беспокоиться, так как я не хочу вызывать в вас негативные эмоции и, к тому же, желаю вам счастья, потому что мои чувства были искренними и нежными.» Не правда ли, жутковато делается от такого признания?

И вот по-другому: «Я вас любил: любовь еще, быть может, / В душе моей угасла не совсем ...» и так далее. И дальше начинается магия слов, смыслов, пониманий этих смыслов, невозможных без участия в ней (магии) адресата, соучастника диалога, другого «я». И мы, зрители, наблюдающие за драмой на невидимых подмостках, одновременно участвуем в ней, ощущая себя и адресатом, и тем, кто любит безнадежно, и тем, кто об этом пишет, и происходит все это здесь и сейчас, с нами, с автором, с другими людьми, со всеми.

«Значит, можно и так», – говорит нам человек-творец, автор, персонаж (лирический герой),

и это наше новое знание о возможностях во взаимоотношениях делает уникальным и наш каждодневный личный опыт, а значит, и всю нашу жизнь. Но об этом – потом.

Возьмем другой пример. Стихотворение Марины Цветаевой, выбранное нами за кажущуюся простоту и даже банальность (тоже лишь на первый взгляд) высказанного в нем смысла:

*Ты, меня любивший фальшью  
Истины – и правдой лжи,  
Ты, меня любивший – дальше  
Некуда! – За рубежи!*

*Ты, меня любивший дольше  
Времени. – Десницы взмах! –  
Ты меня не любишь больше:  
Истина в пяти словах.*

Казалось бы, простой смысл: любил – разлюбил, или – очень, сверх меры любил – разлюбил совсем. С точки зрения информации, пусть даже эмоционально окрашенной – ничего нового, как говорится, дело житейское. Однако, это стихотворение – одна из поэтических вершин. Так в чем же тут дело? Какое освоение, и какого духовного пространства, здесь происходит? Попробуем так: во-первых: «я хочу об этом говорить» (я – героиня лирического отрывка), во-вторых: «я хочу об этом говорить именно тебе, быть услышанной тобой», тем близким человеком, к которому обращается героиня, в-третьих: «услышанная тобой, я оцениваю на твоих глазах твоё отношение ко мне, понимаю его и преодолеваю, становлюсь выше твоей лжи, фальши, измены, непостоянства.» В-четвертых: «понимая, что это – конец, я нахожу в себе силы быть такой вот: гордой, откровенной, отчаянной» и т. д. Вот далеко не весь смысловой контекст стихотворения Цветаевой.

Кажущаяся легкость и простота исполнения в этом поэтическом отрывке и, вообще, в такого рода стихах подвигла многих любителей, а главное, любителейниц, писать подобные откровения, не задумываясь особо о том, что несет в себе тот или иной исповедальный всплеск. Результат – налицо: появление такой категории, как «женская поэзия». А ведь пафос этого «простого» цветаевского стихотворения запредельно высок не потому, что лирическая героиня решила исповедоваться перед всем миром, а потому, что увидела и осознала, стоя уже на отдаленной вершине, достигаемой лишь страданием и очищением через это страдание, весь этот гигантский разлом, разделивший огромную любовь «дальше некуда» и «дольше времени» и будничные пять слов горькой, но истины, т.е. – оценила, а значит – выросла из

этого устаревшего кокона – новой бабочкой.

Но вернемся к мысли о завоевании духовного пространства. То, что в жизни, и, соответственно, в сознании бытовом, происходит лишь изредка (а в некоторых случаях может вообще не происходить), в поэтическом сознании делается доступно, возможно и необходимо, причем, движение мысли-чувства может быть не только вверх, вниз, в сторону, но и назад-вперед по временному вектору, а также, внутрь-наружу в плане материи-духа. И в этом смысле поэтическое сознание безгранично. Безгранично и пластично, так как может освоить любую ситуацию, и чем она (ситуация) абсурдней и странней, тем для поэтического осознания подчас лучше. Хотя из приведенного выше примера со стихотворением Цветаевой видно, что давно как будто завоеванные человеком высоты чувствования могут быть освоены заново.

Но, возможно, стихотворения, взятые нами в качестве примеров, покажутся читателю слишком прозрачными по смыслу. Возьмем другой пример:

*Когда, сжигая синеву,  
Багряный день растет неистов,  
Как часто сумрак я зову,  
Холодный сумрак аметистов.*

*И чтоб не знойные лучи  
Сжигали грани аметиста,  
А лишь мерцание свечи  
Лилось там жидко и огнисто.*

*И, лиловея и дробясь,  
Чтоб уверяло там сиянье,  
Что где-то есть не наша связь,  
А лучезарное сиянье...*

(И.Анненский)

Символистское (хотя автор не был символистом), полное полутонов и таинственной атрибутики стихотворение лишь на первый взгляд кажется таковым. Мерцающий свет свечи, преломленный в гранях драгоценного камня, не просто предмет эстетического удовольствия и не символ каких-то иных реалий, он задействован в драматической коллизии между миром и человеческим духом, находящемся в постоянном и безнадежном поиске прорыва, выхода. И вот оно, действие, происходящее у нас на глазах: сжигающий синеву, беспощадный и неистовый багряный день и – зов человека, обращение к сумраку, к той материальной среде, где кажущаяся отчетливость мира вещей стирается, где возможно (а может быть, и нет), но безнадежно взыскиваемое им (ведь сиянье всего лишь – уверяет, но ничего не гарантирует) другое сосуществование всего со всем, гармоничное и прекрасное. И это еще не все, потому что мы воспринимаем и автора-героя, того, кто обращается к сумраку «часто», а значит, живет

особой внутренней жизнью, нацеленной на поиск, готового воспринять иную реальность, но горько разуверившегося в том, что встретится с ней. Но и это не все. Нам могут возразить, что те же самые «бытийные» вопросы ставятся и разрешаются не только и не столько в поэзии, но в психологической прозе и, разумеется, собственно в философии. Верно. Но незаменимая ценность лирического высказывания была и остается в том, что оно происходит как бы на наших глазах, здесь и сейчас, в тот момент, когда автор-герой вступает в диалог с нами и на глазах у нас обобщает и оценивает тот или иной психологический, личностный, событийный момент (хотя все три компонента взаимосвязаны) т.е. мыслит, и мыслит с присущей ему, конкретному человеку, особостью. И мыслит, не как философ, отвлеченными категориями и не как писатель-прозаик, разворачивая перед нами характеры и ситуации, а как поэт, т.е. позволяя максимально приблизиться к своему «я». Автор и читатель должны находиться в постоянном и напряженном со-чувствовании, без которого не произойдет акта понимания и не будет совместно освоено новое духовное пространство.

И здесь совсем не обязательно, чтобы лирический герой-автор романтически приподнимал свой образ, осуществляя свое осознание только в «высоких» категориях, обобщая жизнь и ее коллизии, как счастливое утверждение его (автора) уникальности. Возможен и обратный ход, когда автор намеренно занижает, омирщвляет и нивелирует свой внутренний облик (часты примеры из современной поэзии). Но и в этом случае он хочет быть узан и понят, хочет осуществить диалог, ради которого все и затевалось: весь этот внутренний и внешний эпатаж, обращение к ненормативной лексике, чудачества и словесные вычурности. Понимай и принимай меня таким, как я есть или – не принимай, не важно! Но, главное, знай обо мне, думай и ощущай меня, потому что я – это не ты, но если бы тебя не было, то и я не смог бы реализовать свою внутреннюю (все равно!) уникальность. Здесь уместно вспомнить мысль Ю.Лотмана по поводу общения в широком смысле. Он говорил, что «единство ценности и трудности (общения – Е.Ч.) и составляет страдание, муку жизни, но оно же составляет и ее радость». То есть – «нам нужен другой. Тот, кто нас понимает, и тот, кто нас не понимает» (Ю. Лотман).\*

Чуть подробнее – о современной поэзии, но – в том же ракурсе. Попавшаяся на глаза книжка-сборник совсем молодых авторов – лауреатов молодежной литпремии «Дебют» – «Плотность ожиданий»\*\*. Не пускаясь в оценочные рассуждения – кто есть кто – это не является целью данной работы, и об этом – вполне достаточная вступительная статья Дмитрия Кузьмина, заметим лишь, что усложненная диалогичность, т.е. диалог уже не на уровне – личность – личность, а через личность – с разными

культурными пластами и отдельными контекстами (что вообще характеризует всю современную поэзию), присутствует и здесь, хотя, возможно, лишена уже оттенка трагического глумления над этими контекстами, свойственного некоторым «разделам» поэзии старшего поколения. Здесь она, скорее – результат естественного существования личности во вновь освоенном поэтическом пространстве. Поэтический диалог, безусловно, усложнился, перестал быть просто разговором «от первого лица», стал, как бы, одной большой, многослойной и прокомментированной цитатой. Там же, где он еще имеет место быть в своем первозданном, неотягощенном естестве, поэтическая речь доводится подчас до абсурдной простоты и примитива, подчеркивая всячески нежелание автора вести этот диалог с ходульной высоты.

Пытаясь подвести итоги, вспомним, что необходимость существования искусства вообще и поэзии в частности объясняется (по Лотману) возможностью для человека поведенческого морально-этического выбора той или иной ситуации (это может быть, как говорилось ранее, и внутренняя ситуация и, как говорилось, ситуация со знаком «минус»), апробированной искусством. Но это касается того, кто воспринимает произведение искусства. А как быть с тем, кто его создает? Для чего ему, грубо говоря, программировать какие-то ситуации, чувства? Создание произведений искусства не может иметь для творца утилитарную цель, скорее, оно становится своеобразным способом жить и осваивать жизнь. Поэтому настоящий творец всегда – открыватель и исследователь нового, которое вслед за ним уже освоют другие, его собеседники (читатели, зрители и т.д.). Тот же Лотман пишет о том, что стихотворение напоминает ему идеальную модель искусственного саморазвивающегося интеллекта, то есть оно читается каждый раз по-новому, в соответствии с тем контекстом (в широком смысле), в котором оказывается.

Таким образом, мы снова вернулись к бахтинской идее всеобщего диалогизма, присущего как словесному творчеству, так и вообще всей человеческой жизни в сознательном ее аспекте. И таким же образом мы приблизились (возможно, только приблизились) к заявленной нами вначале мысли о феномене поэзии как жизненной необходимости, перманентно присущей человеку. И «если звезды зажигаются...» и так далее, если стихи пишутся, они будут прочитаны, и никто не останется без ответа – шанс есть всегда...

\* Цитируется по книге – Ю.М. Лотман «Воспитание души» «Искусство – СПб» 2005 г.

\*\* М. 2001 г.

## ВЕНОК СОНЕТОВ

к Ё.

1

Планеты той, где властелином – ты,  
мне не знакомы пагубные тропы.  
Я здесь хочу свои растить цветы,  
жить просто и не путать эти строфы

с обычной прозой жизни, где никак  
тебя не свяжешь с мылом, мулом, мелом.  
Сам по себе – не умный, не дурак,  
и тело, как положено быть телу,

красиво, только если хочет жить.  
К чему ж опять продергиваю нить  
в игольное ушко и за узором

уже не различаю, где начало,  
а где конец? Но, черт! Чужого взора  
силен обман и полновзвучны чары.

2

Силен обман и полновзвучны чары  
проклятой темы, что мешает жить.  
И после стольких лет невинного угара  
не стоит продолжать весь этот лите-

ратурный бред. Ведь лучше – отдавая дань  
простому быту, по утрам вставать (ее не слушать!),  
думать о насущном, итог: поди, ее – застань,  
всегда с сердечной раной, душу.

Но вот ползет в окно другой рассвет,  
как будто не было всех этих странных лет,  
и мне понятно – проиграла я.

И честно лгу себе, что никогда листы  
не замараю рифмой. А душа жива-я  
прикована к несчастью простоты.

3

Прикована к несчастью простоты,  
живу, как нищенка на пышном пепелище,  
пол подметаю впрок и, не полив цветы,  
не выхожу из дома, думаю, где стрижку

мне лучше сделать. И стоит, как склеп,  
как памятник прижизненный, нелепый,  
тех чувств моих нескрытый арте-  
факт, исследуемый ощупью и слепо

случайными попутчиками. Жизнь,  
смеясь, велела: «просто, это... кинь  
свой черный ящик после катастрофы

куда подальше». Но грозит пожаром  
небрежность с током. И, рифмуя строфы,  
с усмешкою сношу ее удары.

4

С усмешкою сношу ее удары,  
заигранная страсть – почти пластинка  
с отбитым краем, где нельзя гитары  
уж отличить от Коэна и свинга,

романс от рока. Проживу, как надо,  
со страстью, вбитой кем-то в грудь колом  
осиновым, забытая менада  
с наивным на груди: «идет на слом».

Не долго уж. Гореть, дружок, не тлеть,  
хотя, конечно, страшно эту клеть  
мне видеть сломанной, но, ничего – я справлюсь.

не знала, что придется по ножу,  
как по проспекту двигать, улыбаясь,  
готова выть, но молча прохожу.

5

Готова выть, но молча прохожу.  
И, ситуацией вполне владея,  
друзья подскажут: что к тебе пишу  
и ничего я боле не имею

в виду. Что это – просто сплин  
или мечта, или отсутствие достойных  
партнеров в жизни, позабуди и кинь.  
Или (что лучше) разберись со строем

моей поэтики. Железом по стеклу,  
всем словарем по нёбу, как в траву  
упавшим яблоком, готовлюсь, но неверно

рассчитан шаг, хоть логика простая  
подсказывала: здесь она, наверно,  
готова пасть, но кандалы мешают.

6

Готова пасть, но кандалы мешают,  
не до банальностей навроде: без тебя  
я – не жилища. И вбивает сваи  
в меня, как в землю, логика твоя

железная. Во всем, во всем – опять  
искать систему, разбивать на пункты,  
писать? Но для кого, кому писать,  
слова исхожены, да чувства круты.

Мне остается в мире этот странный гул,  
так... то ли море, то ли вечный уло-  
чек галдеж, где поколенья

мнут друг за другом пыль, тревожат слух,  
и где извозчик-время чинит, напрягая зренье,  
лишь старенький, застиранный кожух.

7

Лишь старенький застиранный кожух,  
истлевший под рукой, того, кто выше,  
да пара бочек, да сорняк, да вслух  
пропетый петухом рассвет на крыше,

да, может, в кринке пресная вода,  
та, что запоминает наши мысли  
и даже чувства. Странная среда,  
места такие, где светло и чисто.

Я здесь живу, свою забывчивость кляня,  
я здесь живу, но нет уже меня,  
а жизнь течет размеренно и скудно.

Показана поэтам жизнь простая,  
и пыль, что много дней копила пустошь,  
с машинки пишущей рука снимает.

8

С машинки пишущей рука снимает  
листок последний, с бледным отпечатком

любви, от коей сердце замирает,  
но доказательств нет, и в том загадка.

Что песни, что слова – пустяк, не боле,  
мы не случились, не сбылись, не спелись.  
А так – какой-то анекдот без соли,  
стремление пустое тела к телу.

Но напоследок спрашивай с меня без страха,  
кто усомнится в искренности перед плахой?  
я отвечаю – да, любовь была.

А ближних я опять поберегу,  
и, погружаясь в быт, в пустяк, дела,  
чертам придать уверенность могу.

9

Чертам придать уверенность могу,  
как будто счастья впереди – навалом.  
Живу, такого не желала бы врагу,  
живу, но только жизни в этом мало.

Душа хотела бы рассыпаться, истлеть,  
сорваться камнем вниз и превратиться в камень,  
но, хошь-не хошь, приходится ей петь,  
как будто кто-то эту душу нанял

в придворные певцы у феодала.  
Но если я уже хожу в твоих вассалах,  
хоть оглянись на ту, что возле трона,

Стоит и пишет за строкой строку.  
Любовь всегда, дружочек, вне закона,  
Бог даст, столкнемся на своем веку.

10

Бог даст, столкнемся на своем веку.  
Какая разница, на празднике иль в будни,  
или в пустыне желтой Кара-Кум.  
Не трудно встретиться, не ошибиться – трудно.

Но если все-таки когда-нибудь, в обход  
привычке старой и друзей заботе  
рискнешь приблизиться к той, что еще живет  
здесь, на земле, а не в небесном гроте,

ее словам о тщетности не верь,  
слова – словами, а за ними дверь,  
простая дверь, незапертый замок...

и даже если прокричу «прощай»,  
ты прочитаешь правду между строк  
и губ моих коснешься невзначай.

11

«И губ моих коснешься невзначай».  
Чужие строчки надоевших книжек,  
бессмысленный, литературный рай.  
Любовь и смерть – раскрутка для престижа.

Количество написанного в тему,  
пожалуй, перевесит все тома  
энциклопедии. Не потому ль мы немые?  
Не потому ль мне хочется сломать

стереотипы. Чтоб тебя понять,  
исследовать придется снова пядь  
за пядью области тревожной

души твоей. Одна я в этом небе, ты – один,  
ни подойти, ни сгинуть невозможно.  
Мне кажется, мы здесь века стоим.

12

Мне кажется, мы здесь века стоим.  
Изваяны (возможны варианты),  
два пепелища с чернотой руин,  
отсчитываем, что твои куранты,

последних встреч последнее «прости».  
И страшно мне сказать себе, что эта  
игра не стоила ни лампы, ни свечи.  
Что я ошиблась в исчисленье света,

что не сулил мне календарь побед,  
что ты был рядом, но лукавил свет,  
когда давал понять, что ты – награда.

Теперь хочу... (нет, не хочу, читай!).  
Нет, не смогу – не только до заката,  
но даже после сотого «прощай»!

13

Но даже после сотого «прощай»,  
где б ни был ты, где б я ни оказалась,  
я буду верить, что бывает рай  
и на земле. От дома до вокзала

привычен путь. Я собираю вещи,  
беру билет и думаю о том,  
что уезжаю от тебя поспешно,  
хоть там, где ты – мой настоящий дом.

Пусть не покинет нас лукавый свет,  
нас поманивший и на склоне лет  
сиявший нам, суливший страсть навеки.

когда-нибудь, разбуженная им,  
поднявши перетруженные веки,  
я снова припаду к глазам твоим.

14

Я снова припаду к глазам твоим,  
я знаю – только это мне доступно,  
когда по обе стороны стоим  
постельной темы – глухо и преступно.

Ты ничего не хочешь – про любовь:  
она смешна, ведь мы с тобой не дети,  
но снова теплится на уровне висков  
жизнь-побирушка, тайная, как Йети.

Куда бежать? Кого просить помочь?  
Когда тебя рисует сука-ночь  
в проеме черном стрельчатом окна,  
не дотянусь, не перейду черты.  
Я пригубила тайного вина  
планеты той, где властелином – ты.

15

Планеты той, где властелином – ты,  
силен обман и полновучны чары.  
Прикована к несчастью простоты,  
с усмешкою сношу ее удары.

Готова выть, но молча прохожу,  
готова пасть, но кандалы мешают,  
лишь старенький, застиранный кожух  
с машинки пишущей рука снимает.

Чертам придать уверенность могу,  
Бог даст, столкнемся на своем веку,  
и губ моих коснешься невзначай.

Мне кажется, мы здесь века стоим,  
но даже после сотого «прощай»  
Я снова припаду к глазам твоим.

## ИОГАННА

Ты сказал а катилась бы ты отсюда шла бы куда подальше потому что здесь уйма яблок ну просто негде не то что встать даже ногу поставить а долго ли сможешь на одной ноге простоять да и зачем тебе когда такая куча этих самых вот яблок я и сам с трудом аж устал а с тобой и вовсе и вообще все-то ты выдумала тоже мне творческая личность ну и что что я

Я теперь буду по-другому называться имя у меня будет другое прежнее мне ничего не дает и вообще скучно я буду теперь Иоганна и если и спасу кого-нибудь то потом меня непременно предадут самые близкие и все закончится не так вяло а какой-нибудь там костер и все по-настоящему а то опять валокордин да бессонница и при чем тут вообще эти яблоки конечно ни при чем просто метафора а оно нам надо если по жизни не смогли приспособиться только и говорить а при чем тут слова символы психических актов

сказал поэт если будем молчать и просто думать  
тоже ничего хорошего жить не научились закрой варежку  
тогда ты сказал умница разумница и откуда ты такая ну и ну ого го вот это да ух ты ласковая какая да я и не говорю ничего хочешь съешь все эти яблоки или давай их вместе соберем в мешок да отнесем куда-нибудь в чисто поле пусть лошади съедят или только не смотри на меня так а то ведь и вправду сгоришь в одночасье инквизиторский был посуше а у нас так сыро что только дым

а я все равно хочу тянет меня я давно уже стала Иоганна вот и седло мне снится вскочить и поскакать конь хоть норовистый а все одно надо и волосы состригу а ты думай может чего надумаешь тогда телеграфируй я не то чтобы вернусь но вспоминать буду иногда пока совсем не забуду это тебе ведь не фунт изюму съесть разговаривать по-французски

а ты сказал не надо не надо что ты зачем пусть будет так как хочешь а не хочешь  
пусть никак не будет только не говори больше про это я этого совсем не могу слышать а про другое разговаривать это пожалуйста сколько хошь  
а я вовсе разговаривать больше не буду это ты разговаривай с кем хочешь у меня теперь дела есть разные и настроение есть плохое и костер костер костер костер костер для И о

## ЖЕЛТОЕ ПОЛЕ У ЗЕЛЕННОЙ РЕКИ

*«истинное молчание любви послезнаково, а не предзнаково.»  
(из статьи)*

Погода внезапно исправилась. Так бывает. Ждешь дождя, а в небе вдруг открывается просвет, синий клочок растет, пробиваясь сквозь дымку, и вот уже стремительно очищается полнеба, и снова делается на минуту легко, когда взгляд, оторвавшись от привычных вещей вокруг, поднимается вверх.

Так она и посмотрела туда, как смотрят цветы: бесхитростно, потянувшись к свету. Только так, отрывая себя от мыслей. Это небо – ничейное, воздух... пустота. Им можно владеть так же, как воздухом, которым дышишь, просто дышишь, пока живешь. И все на свете на самом деле просто. Не надо только искусственно усложнять. И если быть до конца честными перед собой, то всегда бывает понятно то неуловимое между людьми, что создает их взаимоотношения, как бы потом они не были раскручены и перепаханы словами и разными поступками. Всегда остается один интуитивный момент, с которого можно начинать отсчет всем будущим отношениям.

С любовью у Алевтины ничего не вышло. Это было уже ясно, и ясно достаточно давно. Конечно, Алевтина еще вспоминала время от времени те хорошие минуты, что выпадали на ее долю, конечно, она еще поддавалась минутным порывам, когда вдруг делалось ни с того, ни с сего легко, радостно и верилось во что-то несбыточное, но, несмотря на все это, она знала, что любовь, та, про которую пишут книги и снимают кино, не состоялась. И вовсе не потому, что она не нравилась мужчинам. Скорее, наоборот, вопреки тому, что нравилась. Были у нее поклонники, были и мужья. Два: один до безумия любил порядок, а другой был чудовищно неряшлив. И был еще тот, кому она, Алевтина, так и не посмела ничего сказать, потому что, если то важное, что происходит иногда между людьми, важно и понятно лишь для одного из двух, то никакими словами тут не поможешь.

Вот, пожалуй, и все. Вся жизнь может уложиться в несколько коротких фраз. В детстве ее звали Алькой, Алька и Алька. Потом друзья пытались называть Алиной, но ей не шло и не привкусилось. А для него она так и осталась «Алевтина», «Вы». А все то, что она чувствовала и переживала

глубоко в душе, вовсе не имело никакого отношения ни к сексу, ни к пресловутой борьбе полов, ни к дружбе между мужчиной и женщиной.

Было это чувство мучительным и радостным, и легким, и горьким одновременно, как хорошее, выдержанное вино, каждый глоток которого создает массу ощущений во рту и на языке.

Когда очередной соискатель ее любви предложил ей жизнь вместе до гроба, она, подумав сутки, согласилась. Все это было так далеко от того, что жило сейчас в ее сердце, что можно было дать любой ответ, лишь бы закончить неловкую сцену и не видеть страданий другого человека. Потом она отдавалась ему, не безразлично, но спокойно, словно делая какую-то необходимую, но мало увлекательную работу.

А Борис был рядом. Стоял тут же, возле стола или у плиты, где она готовила завтрак, шел с ней рядом по улице, рассматривая цветущие ветки или вглядываясь в теплый августовский свет, прояснявший краски уходящего лета. Свет августа, который она так любила. Они познакомились на экскурсии. Было глупо с ее стороны ехать осматривать какие-то руины, до которых ей совершенно не было дела. Но она поехала, потому что давно нигде не была, и захотелось просто подышать негородским воздухом.

Знакомых среди пассажиров было мало: две-три женщины, старше нее лет на десять-пятнадцать, да парнишка, годившийся ей в сыновья. Другие экскурсанты и вовсе не знали друг друга. Потрепанный автобус медленно, с завываниями одолевал подъем за подъемом, и там, на верху горы уже завиднелась конечная цель их странствий – развалины монастыря, такого древнего, что о том времени даже невозможно было думать всерьез: его как бы и не было вовсе. А эти обломки старой кладки – они ведь никого на самом деле не убеждают – просто декорации.

Когда все уже устали бродить между старых стен, то решили передохнуть тут же, на высоте, а потому уселись кто куда. Пожилые женщины энергично взялись за подготовку к пикнику. Аля все еще стояла, оглядывая окрестности и недоумевая, зачем она сюда приехала.

– Борис Евгеньевич, идите сюда! – весело крикнула Нина, захватывая взглядом и Алю. Стоящий на бугре мужчина в серой куртке обернулся. Аля скользнула взглядом по холмам и увидела, что на нее смотрят. Тогда она снова отвернулась. Вот и все. Все ли?

Не тогда ли задел Алевтину этот взгляд, зовущий, вопрошающий или, Бог знает, еще какой взгляд. Взгляд рыцаря, только что поднявшего забрало, чтобы принять удар с открытым лицом.

Возвращение было веселым, всем захотелось петь. И спели три или четыре песни, как водится, хором. К концу пути потянуло на разговоры.

– Вот так живешь, едешь, ходишь, – сказал вдруг Костик, парень, смешно влюбленный в свою молодую спутницу и оттого пытавшийся говорить умно и загадочно, — а увидишь вдруг какое-то желтое поле, какую-то речку зеленую и вдруг понимаешь, что надо бы остаться здесь насовсем, что это и есть твое место, твоя настоящая родина, но ведь ни за что не останешься, дальше поедешь и всю жизнь потом будешь маяться и вспоминать, и корить себя, зачем не остался.

Аля посмотрела в окно. Запыленная равнина, убегающая под кривой тенью автобуса назад, обдавала жаром. День кончался, но до ночной прохлады было еще далеко. «Где оно, это желтое поле у зеленой реки?» – с тоской подумала она, – «уже и не встретишь его... Слишком поздно».

Автобус резко тормознул, Алю тряхнуло, она уселась поплотнее, обернулась. Через проход на нее смотрел тот мужчина в куртке, которого называли Борисом Евгеньевичем.

Все-таки странный это был взгляд: он спрашивал о чем-то и как будто просил, и сожалел одновременно. Он был говорящим, этот взгляд. И Аля вдруг улыбнулась, просто чтобы не обижать человека: может, задумался и не видит, куда смотрит. И он тоже улыбнулся и поднял вверх большой палец, как бы говоря: «Все в порядке, все замечательно!», и лихой жест этот странно не соответствовал взгляду. А Але тогда показалось, что все-то он понимает и знает про Алю, что ему, наверно, ничего не пришлось бы объяснять и никогда не пришлось бы втолковывать то, что и так понятно, и он бы сам никогда не стал говорить того, что говорить не нужно, допытываться, почему она грустная или над чем смеется, не стал бы доискиваться причин ее таких понятных поступков и никогда бы не стал у нее спрашивать, хочет ли она сейчас любви, потому что знал бы об этом сам.

Когда приехали в город, совсем стемнело. Расходились торопливо: каждый думал о том, как бы побыстрее домой.

– Вас зовут, кажется, Алевтина? Вас проводить? – Аля обернулась: Борис Евгеньевич спокойно смотрел на нее, ожидая ответа.

– Только если вам по пути...

Аля уже жалела, что согласилась, хотелось остаться одной, чтобы додумать, наконец, те несколько ясных мыслей, что пришли к ней еще в автобусе. Мысли были из разряда вполне бесполезных, но дающих потом силы и желание жить дальше, а это было немаловажно.

– Вы думайте, я вам не помешаю, можно ведь и молчать, – сказал он.

«И это он знает», – мелькнуло у Али.

– Кстати, меня зовут Борис Евгеньевич, – добавил он, продолжая идти рядом и спокойно осаживая свой широкий шаг, потому что Аля двигалась не слишком быстро.

Он был реставратором, и древности были его профессией. Он разбирался не только в типах кладки и архитектуре, но прекрасно знал иконопись, по мельчайшим деталям мог определить век, руку, писавшую ту или иную икону, стиль и школу. Он любил старину. Его восхищали и обычные городские постройки 19 века, характерные для юга, а Але казалось, что дома эти строил какой-то сумасшедший, так как жизнь в них должна была протекать на глазах у всех, и не оставалось ничего, о чем не знал бы сосед напротив, наверху или внизу. Это должно было быть изощренной пыткой неодинокостью.

Они дошли до Алиного подъезда, и Борис Евгеньевич простился с ней так, будто собирался увидеться вновь, и так, будто они давние и хорошие знакомые. Тем же вечером, когда Аля пристроилась возле стола, допивая остывший чай, перед глазами ее вновь возникло это странное лицо со страдающими глазами. «Как у умной собаки, – подумала она, – которая просто не хочет с вами говорить, но понимает абсолютно все».

Но говорить Борис Евгеньевич умел, умно, доступно и всеобъемлюще одновременно. Однажды Аля попала на лекцию в музей искусств и там увидела его в числе выступавших. Лекция была о русской иконе. И здесь, среди пышущих жаром камней юга, где божественные изображения в закопченных храмах напоминали чем-то неудавшийся лубок, было странно и горько вспоминать строгие и праздничные северные иконописные лики, чистоту и яркость красок, золото и синеву округлых куполов.

Потом они шли вдвоем по аллее, засыпанной осенним листопадом, солнце слегка золотило запущенный сад, и было на удивление легко. Ей хотелось говорить с ним, рассказать о своей такой непонятной и непонятой жизни, хотелось увидеть, как он живет и, может быть, спросить совета, хотя она не знала толком, о чем...

Но он молчал, а Але было отчего-то страшно начинать говорить самой. Они распрощались, как и прежде, возле Алиного подъезда, она не пригласила к себе, а он ничем не показал своего желания зайти в гости. Простившись, Аля вбежала к себе на третий этаж и, задыхаясь, долго пыталась попасть ключом в замочную скважину.

Когда дверь все-таки открылась, и Аля вошла в полутемную комнату, то почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы.

«Стоп! Стоп, стоп... Ничего не может быть, потому что не может быть...» Но вдруг она всхлипнула, закусив губу, и слезы полились сами собой. Через час она все же успокоилась, умыла лицо холодной водой и запудрила красные пятна на щеках и возле глаз.

А потом была зима, долгая, холодная, с сыростью, слякотью и тяжелой бытовой неустроенностью. Аля мерзла, простуживалась, тоскливо смотрела поверх мокрых крыш и черных деревьев, выискивая солнце. Она узнала, что Борис (так она называла его мысленно) уехал с кем-то за границу. И она почему-то думала, что с женщиной.

Весной, когда опять стало возможно бродить по улицам и вдыхать юную свежесть оживших деревьев, она встретила Костю. Он по-прежнему был влюблен, но уже в кого-то другого.

– Помнишь, тогда, на экскурсии, ты говорил про желтое поле, помнишь, Костик?

Я теперь точно знаю, это бывает: желтое поле у зеленой реки – и ничего больше не надо, только это.

– Мало ли что я говорил, я, знаешь, не помню того, что говорил даже вчера. А не придумала ли ты все это, Алечка?

Но она уже знала, что не придумала, знала и то, что поле это попадает в жизни, скорее всего, только однажды.

Борис больше не вернулся в этот город, из Польши он перебрался в Голландию, а оттуда в Париж. Больше Аля о нем ничего не знала. Когда она изредка попадала на церковную службу, то с особым чувством прислушивалась к голосу дьяка, распеваящего басом: «О плавающих и путешествующих Господу помолимся!» В единственной церкви, где еще шла служба на церковнославянском языке, Аля произносила про себя свою молитву: «Пусть хранит тебя Господь, мое единственное поле у зеленой реки!»

## ЛИЦО

Автобус медленно заворачивал, крутясь по петлям дороги и тяжело переваливаясь с одного бока, на другой. Его натужное урчание, переходящее временами в рев, сотрясало салон, швыряя пассажиров то влево, то вправо. Местами, когда дорога делалась ровнее, он прибавлял ходу, наверстывая потерянное на крутых виражах время. Тогда за запыленным окном начинали весело мелькать несущиеся встреч путаного колючие кусты со спелой черной ягодой, ветки лесного орешника, приветственно повернувшие свои широкие зеленые ладони к дороге, возникающие из ниоткуда и тут же исчезающие в никуда, райские

поляны с травой и цветами по поясу. Ехать надо было еще минут сорок. Неужели здесь могли жить люди? Но именно это подтверждал битком набитый желтый ВАЗик, скрипящий раздвижными дверями, подбирающий новых и новых пассажиров с мешками, рюкзаками и другим не менее прозаическим грузом. Маля сидела возле окна, коленки под коротким оранжевым, «дорожным» платьем сжаты, руки и шея открыты. Иногда, после особенно крутого поворота, она чувствовала, как тяжелеет голова и к горлу подступает легкая тошнота. Тогда она дышала глубже и старалась смотреть в одну точку, туда, где за пластиковым стеклом виднелся затылок водителя. Ей нравилось приезжать сюда на лето, здесь, в горном местечке, была ни с чем не сравнимая воля, дышалось легко, и каждый день выпадал из календаря, словно неожиданный и дорогой подарок.

Еще ей нравилось нравиться. Правда, больше, чем другим, ей хотелось нравиться самой себе. Здесь это случалось легко: тело обретало особую, летнюю свободу, оно загорало и крепло, а думать можно было лишь о том, что будет завтра, какой ясный или с легкими облачками день подарит прогулки, купание или то и другое вместе, и как хороша она будет, когда вечером, одевшись потеплее, пройдет по поселку, разглядывая чистые, игрушечно яркие, дома.

Она посмотрелась в автобусное стекло, выдавшее на мгновение из своей глубины ее лицо на фоне мелькающей темной зелени. Нет, пока она себе не нравилась, она еще была слишком городской, ее руки и ноги были еще совсем белы, и волосы ничуть не выгорели, не то, что у местных. Их золотистые, почти белесые гривы прямо сверкали на фоне кирпичного загара, покрывавшего лица. Дверь в очередной раз скрипнула и, скрежеща, отвалилась в сторону. На подножку поднялся пассажир.

Он так и остался стоять на ступеньке, схватившись одной рукой за никелированный поручень сбоку, другую небрежно перебросив через второй такой же – с другой стороны. Маля взглянула, потом отвернулась к окну, но тут ее снова затошнило, и она выпрямилась в струнку, глядя прямо вперед, туда, где извивалась серая, местами глянцево-черная дорога.

Хорошо, что можно было надолго (целых три месяца!) забыть про школу. Она вспоминалась, как что-то далекое, нереальное, чужое. Место, о котором не хочется думать, и которое (возможно) просто исчезнет, если о нем не думать. Там она себе не нравилась особенно: от нее требовалось быть, как все, это значит – выполнять задания, отвечать на уроках, писать контрольные и, к тому же, стандартно реагировать на выходки одноклассников. И если учебный процесс, не слишком увлекая, все же удавался ей, то предвидеть реакции своих сверстников – этого она не умела совершенно. Она взглянула на свои руки, покойно лежавшие на желтой сумке: вот собственные руки ей всегда нравились. Хотя, если поразмыслить, то и фигура у нее неплохая, скорее, даже хорошая, особенно талия. И это любимое, негородское платье, в котором чувствуешь себя еще стройнее и волосы, которые она наконец-то могла распустить по плечам... Пассажир на подножке заговорил с кем-то и засмеялся. Он легко мешал русские слова с греческими. Темно-золотистый загар покрывал лицо, шею. Только там, где кожа собиралась в легкие морщины, возле глаз, на лбу – оставались белые полосы.

Маля посмотрела на него в третий раз, потом в четвертый. Древние элины, были ли они такими? Такими загорелыми, спокойными, такими... красивыми. Ей сделалось грустно от того, что пассажир ни разу даже не взглянул на нее, хотя она уже несколько раз уставлялась на него во все глаза. Его кудрявые светлые (как у большинства здесь) волосы трепал встречный ветерок. Правда, если присмотреться, то эта глубокая складка, идущая от угла носа к углу рта – что-то простецкое в облике, грубое. Наверно, он попивает, как все местные, ругается матом, и что-нибудь еще такое, что она часто замечала в мужчинах, и что неизменно внутренне отталкивало ее. Она и сама не знала, что это. Во всяком случае, здесь мужчины вели себя поспокойнее, не то, что в том месте, откуда она прибыла. Там они перемежали в поведении истерическую развязность с заторможенным, тупым (и оттого особенно отталкивающим Малю) вождением, которое так и перло из них, стоило лишь оказаться в поле их зрения.

Чтобы не смотреть все время на своего элина, Маля отвернулась к окну. За стеклом мелькнул яркий шлем мотоциклиста, сверкнули на солнце голубоватые очки в пол лица. Седок на тархтящем мотоцикле исчез за поворотом, и звук мгновенно стих, поглощенный выпирающей, горбоносой скалой. Маля вспомнила, что на этом участке часто гибли именно мотоциклисты. Хотя, говорили, что однажды в пропасть свалился целый автобус с туристами. Внизу, сразу за белыми с черным дорожными столбиками, на глубине, наверно, метров двухсот темным малахитовым блеском сверкнула в изгибе речка. Маля вдохнула терпкий воздух, ворвавшийся в открытое окно, глазам сделалось горячо, в носу защипало.

Мгновенная грусть, та, что бывает от неожиданного пейзажа или случайной мелодии, возникла вдруг где-то чуть пониже ребер и поднялась к глазам, наливаясь там влажным соком. Она стала думать, что ей хотелось бы знать пассажира на подножке. Не познакомиться, а именно знать, так, чтобы это сделалось как-то само собой, но, что этого, конечно же, не будет, и это необыкновенное лицо она больше никогда не увидит, хотя, вот, может, именно это лицо, так притягивавшее ее... она не знала, что дальше: дорожные мысли не хотели додумываться.

Поездка подходила к концу. Пассажиры заерзали на своих местах, стали вытаскивать мешки из-под сидений, нарочито шумные туристы, с тайной издевкой над собственной беспокойной блажью, подхватывали пудовые рюкзаки. На повороте, возле первого дома, неподалеку от местного вконец заросшего кладбища, автобус притормозил, присев по-кроличьи на все четыре колеса, часть пассажиров

тихо стекла по ступенькам и растворилась в зелени придорожных кустов. Маля обернулась: через заднее стекло было видно, как эллин уходил по дороге, перебросив через плечо простую черную авоську, дополнена набитую хлебными кирпичиками, здесь их почему-то с нежностью называли «булка хлеба». Автобус уже въезжал в поселок.

Вечером, устав от дороги и слишком отчетливых впечатлений, Маля вытянулась на слегка пахшей затхлостью, хотя очень чистой постели. Простыни были влажны. Непривычно громко вопили сверчки, в счастливо притихшем саду небо развесило на деревьях влажные звездные полотнища. Завтрашний день обещал быть ясным. Маля решила, что встанет рано, когда солнце будет еще только выползать из-за горы, и все вокруг засверкает в один замечательно яркий момент, а она наденет свое любимое оранжевое платье и легкие босоножки и выйдет в сад, а после завтрака обязательно пойдет в поселок, где с удовольствием побродит по магазинам, купит свежее испеченного теплого хлеба и, может, молока, а потом будет просто ходить по улицам и, скорее всего, где-нибудь случайно увидит еще раз лицо своего эллина а, главное, она еще очень долго будет нравиться самой себе.

## СУКА

Потом ей надо было бежать в кассу за билетами. Очередь – человек двадцать. Каждый, соблюдая свой интерес, выражал явную неготовность любить ближнего. Надо было терпеть это часа два, а то и три, пытаюсь не сорваться на крик и ежеминутно подавляя желание бросить все, вырваться из потной, орущей толпы и бежать прочь. Но, когда билеты все-таки достались, оказались в руках, хоть и не такие удобные места, как мечталось, можно было присесть на жесткую, искривленную нечеловеческой тоской скамью у привокзальной кассы и на минуту расслабиться, поглядеть вокруг взглядом любопытной иностранки, готовой, чуть что, испариться отсюда.

Это был вокзал, обычный, холодно-мраморный, страшный своим безразличием, суетливый суетой перемещающихся в пространстве, беспокойных людей. Вокзал, готовый принять и отправить любого за умеренную плату. Здесь, с отправлявшимися в дорогу не церемонились ни время, ни пространство, ни земные прислужники оно, работники железной дороги. И здесь люди переставали быть теми, кого ждали, любили, помнили, на кого обижались, с кем хотели дружить или ссориться, на кого влюбленно и нежно поглядывали, и кого ценили, в кого верили, кому хотели делать подарки или дарить цветы. Здесь они становились пассажирами.

В то время, как Оленька сидела в зале ожидания, Корн, посверкивая перстнем на мизинце, дописывал письмо другу в Европу, одновременно просматривая свою последнюю работу по озеленению городских новостроек и строительству головокругительной эстакады.

Мифический проект мог иметь успех в другой стране, но для этого следовало наладить связи кое с кем в Берлине, Мюнхене и еще где-нибудь. Он вспоминал: кому бы еще позвонить или написать. Кроме того, потребовалась его помощь, пришло письмо от сестры, и он собрался вылететь к ней в Киев.

Кара не хотела его отпускать, потому что чувствовала, что он опять пропадет, скорее всего, надолго. Так бывало и раньше, и тогда ей приходилось мириться с его отсутствием долгие месяцы, а потом делать вид, что он просто отлучился ненадолго. Их отношения строились на том, что он, Корн, считался всегда свободным, а она любила его беззаветно и преданно, что бы ни произошло. И поэтому, исчезая, он оставлял за собой право не вернуться – или вернуться. Она все равно все терпела. К тому же, она была замужем давно, прочно и очень выгодно.

На этот раз он брал с собой только небольшой кейс и легкую дорожную сумку, рассчитывая вернуться быстро. Ему всегда делалось легко и свободно, когда решение уже было принято. Настроение становилось радужным, а проблемы сами собой улетучивались синеватым дымком в широко распахнутое окно. Они никак не были связаны: Оленька и Корн. Не были ни друзьями, ни родственниками, ни даже хорошими знакомыми. Они просто находились в одно и то же время в одной и той же местности, ели и пили одно и то же или почти так, дышали одним и тем же воздухом и передвигались с помощью одного и того же общественного транспорта.

Возможно, был момент, когда их руки касались поручня в автобусе или метро непосредственно друг за другом, или, зайдя в один и тот же магазин, они могли дотронуться почти в одно и то же время до прилавка или взять одну и ту же понравившуюся вещь. Такого могло быть много.

Они не знали об этом, но, вероятно, знали об этом их тела, клетки кожи, нервные окончания – все то, что не хочет и не требует вербализации, но имеет свою, домыслительную, цепкую память.

Оленька вернулась домой, бросила на стол билеты.

- Ну, вот... кажется, едем.

Это был долгожданный отпуск, которого ждали весь год. Она начала собираться, обдумывать тщательно то, что могло обеспечить, если не комфорт, то хотя бы относительную беспечность дней на двадцать. Что-то взять, что-то отложить в сторону...

Сумка постепенно наполнялась, делалась непомерно большой, раздувалась, проглатывая все новые пестрые тряпицы, а ведь каждый раз мечталось поехать налегке. Посреди сборов она задумалась и присела. Сразу сделалось как-то скучно, непонятно. Оленька незаметно вышла из дома, думая, что просто прогуляется и отдохнет, а сама, тем временем, дошла до остановки и села в проходящий аэропортовый автобус. Она не смогла бы никому объяснить этого своего поступка, если бы кто-то спросил ее о причинах. Никогда, ни до, ни после она не совершала ничего подобного. В аэропорту было чисто, пусто: очередной рейс уже объявил посадку, и люди не томились ожиданием, а дисциплинированно и немного обреченно просачивались за стеклянную перегородку, где их ждала вытянутая струной стюардесса. Оленька видела спины пассажиров, среди которых была и корновская, в светлой рубашке в полоску. Она этого не знала. Ей захотелось заплакать и войти вслед за улетающими за ограждение. Она застыла посреди зала, понимая, что ей лучше сделать вид, будто встречает кого-то. Через время она отошла в сторону и села на желтую пластмассовую скамью. Потом подошла к пестро-попугачьему киоску и попросила глупейшую газетку, но тут же спрятала ее подальше в сумку. Через полчаса самолет Корна, взревев, замахнулся в небо всем своим сверкающим телом, через три минуты превратился в тающую серебряную точку в размыто-голубом. Оленька повернулась и пошла к выходу. Что-то ужасно и непоправимо изменилось в ней, как будто сорвалось и покатилось с высокой горы большое железное колесо от взорвавшегося локомотива, страшное в своей неуправляемой, разрушительной силе. Почти уже перед выходом сзади к ней вдруг пристроился мужик, нагло пахнувший одеколоном и перегаром. Выжидая момент, чтобы заговорить, он опережал ее, медлительно разворачивая башню головы в ее сторону и скаля прицельно улыбку.

- Вы не здешняя, я извиняюсь...? Могу подвезти.

- Пошел ты на... козел!

Она выстрелила с опережением, отчетливо, зло, а затем быстро, по-новому легко, спортивно перебежав площадь, запрыгнула в отъезжающий автобус.

Она возвращалась, ни о чем не думая, но когда все-таки думалось, то думала она, что стала настоящей сукой, и вроде бы без особых на то причин, так, вследствие разных многочисленных обстоятельств. Но, на самом деле, лишь потому, что кто-то, кто должен был любить и беречь ее и кого должна была бы любить и беречь она, никогда не сделает этого, потому что не узнает о ней и потому что на свете есть все, кроме того, в чем по-настоящему, до самых последних кончиков ногтей, волос и кровяных шариков, нуждаешься.

## КУРАТОР

Третий день хлестал дождь. Косой и холодный. Усиливающийся с порывами ветра. Злой. Хотя, следовало бы понять, что дождь тут ни при чем. Сам по себе дождь. Погодное явление, следствие гигантских атмосферных поворотов и движений. Ну, разве не странно: где-то там, в высоких слоях, закручиваются колоссальные вихри, несутся облака, или что-то там еще такое, а здесь, в нашей убогой жизни среди жалких каменных коробок, которые мы важно называем домами, вдруг идет ливень. Так вот, третий день... почти без перерыва. И если предположить, что погода действует и на того, кто отвечает не только за себя, если предположить, что плохое настроение может быть и у тех, кто... Остается положиться на то, что причина и следствие – это всего лишь позднейшие умозаключения философов, и что все имеет вовсе не такую простую линейную зависимость. Это может объяснить многое. Многое из того, что мы называем «наша жизнь». Во всяком случае, дождь... Нет, не стоит так думать. Во всяком случае, спасибо тем, кто объясняет тебе, что с неба льет и льет, потому что гигантская белая запятая циклона отделила нашу часть суши от другой, от той, где сухо и солнечно. Так вот, третий день шел дождь.

Мне давно следовало навестить ее. Просто потому, что, когда навещаешь кого-то, то как бы движешься вперед, оставляя человека в его пространствовремени, в его обстоятельствах, которые он, чаще всего, с охотой поведаст тебе. А ты не то чтобы посочувствуешь, хотя выслушаешь все даже с удовольствием, но просто перешагнешь внутренне через все эти чужие обстоятельства и пойдешь дальше. Вот тебе и иллюзия движения во времени. Мне следовало навестить ее еще и потому, что когда-то она знавала лучшие времена, была популярна, любима и имела кучу почитателей и просто знакомых, а теперь жила очень замкнуто и, кажется, бедно. Впрочем, ее случай не был чем-то из ряда вон выходящим: жизнь обламывала и не таких.

Ну и потом, она мне как-то приснилась, хотя видеть ее во сне мне не доводилось раньше никогда. В общем, все складывалось так, что мне следовало ее навестить.

Но для этого надо было: во-первых – выйти, несмотря на дождь, на улицу, пропутешествовать по городу до вокзала и узнать, как там с проездом, ходят ли автобусы, такси или еще что-нибудь туда, во-вторых – отправиться в посольство и попытаться получить визу, в-третьих подумать о том, сколько все это будет стоить, в-четвертых – подготовиться к тому, что тебе, пассажиру без особых средств, еще не раз придется задуматься в пути, а не повернуть ли обратно, ибо затраты, возможно, окажутся выше твоих скромных возможностей. Но все-таки, я хочу, и очень, ее навестить.

Она, возможно, не вспомнит меня. Не вспомнит, что когда-то в полумраке закулисной неразберихи приняла от меня скромный дар в виде букетика поздних осенних цветов и самодельно записанной кассеты с тем, что я считала на тот момент достойным чьего-то внимания. Она ничего, конечно, не вспомнит. Но я позвоню в ее дверь, (звонок отзовется мелодичным побряхтыванием, модным в 70-е), а потом послышатся осторожные шаги человека, не совсем уверенного в своей походке.

Потом, после визита к ней, я выйду на снег (потому что на улице уже пойдет к этому времени легкий предновогодний снег). Да, это каждый раз – заново. Белизна, возвращение несбыточных надежд, ноги, утопающие в мягком и холодном, жизнь, которую чувствуешь в этот момент острее, чем минутой раньше. Возможность не думать ни о чем на те несколько минут, пока, задрав голову, следишь, как в тебя, в твое лицо, как в центр вселенной залетают, кружась, нежные, растрепанные хлопья.

А, может быть, я не поеду к ней, хотя долгота проделанного пути и нечеловеческая (несоразмерная ни с какими человеческими возможностями) сложность его будут укоризненно направлять к цели путешествия. Я не поеду, чтобы на время хотя бы почувствовать, что не зажата теми страшными и нелепыми обстоятельствами, что превратили простые человеческие побуждения и чувства в подвиг. Я отправлюсь, возможно, к старым друзьям, удивив предварительно их неожиданным звонком (как с того света, пошутит кто-то из нас, не совсем понимая, где кончается шутка). Я буду пить чай в их теплой кухне, и они подробно и озабоченно будут рассказывать мне какие сложности им придется преодолеть и какие они уже преодолели, пока ремонтировали свою кухню и ванную комнату, и что полочки им повесили не там, где им хотелось, и теперь, возможно, их жизнь будет не такой налаженной, как раньше, и что альпинистское оборудование для старшей дочери пришлось купить, хотя и дорого, но есть место, где можно всегда покупать дешевые бананы.

Я буду слушать их, забывая обо всем, становясь причастной к этим заботам и проникаясь ими, я буду чувствовать себя вернувшейся в лоно жизни, я даже смогу дать им несколько вполне адекватных советов, удивив тем, в первую очередь, самую себя. Я даже поживу у них несколько дней... Я понимаю, что этого никогда не будет.

Чертов дождь, чертов южный циклон. Мою фамилию (совсем, кстати, несложную) здесь всегда искажают – не могут произнести правильно. Меня как будто бы уже нет здесь. Или это не совсем я. Я ломаю свою речь, чтобы быть понятой. Я свожу общение до минимума, когда мне это надоедает. Я всегда слышу неестественные, слишком громкие, чужие звуки. Меня, действительно, уже почти нет.

Экраны телевизоров заполнила истерическая галиматья. Я с удовольствием зарубила бы топором телевизор, но фантом вряд ли исчезнет. Дорога в горы будет завалена снегом до весны, но весной я все равно не смогу проехать по ней: причины я, кажется, изложила выше.

Ну, ладно. Это все ерунда, ерунда этот южный циклон. Потому что пройдет, как и все остальное, только кажущееся прочным и долговечным. На скамейке, в том парке, где деревья... Нет, я не буду ничего о деревьях, зачем? Они ведь не замечают нас, они живут, просто потому что начали и теперь не могут сами остановиться. Тогда о чем, если не о деревьях? Серая кошка, выпачкав лапы в снегу, брезгливо и нежно отряхивается, бежит по дорожке, хочет попасть в теплый дом. Все грубое и жесткое пропадает в этом снегу. Растворение, мерило бренности, ничего не оставить на завтра, петь, петь, пе-тель-ка, ме-тель, тел-ка, толь-ко, толь, Тиль... нет, Тэль...

Кто стрелял? Кто стрелял в даму и ее собачку, попадая во всех нас рикошетом, потому что не надо знакомиться с незнакомцами на набережной, либо где еще, все равно пуля, как последняя дура, а то, что не картошка и другой какой овощ – так мы умные умники, сами, чай, знаем.

Так вот, если забыть о циклоне... Если забыть, то можно пожить еще чуть-чуть, еще порадоваться. А, собственно, почему бы и нет?

Ну вот, после столь длительного предисловия можно и рассказать ее, эту нехитрую историю...

Мне хотелось бы начать... Да, вот... мне хотелось бы начать пофантастичней, потаинственней что ли. Но – нет, не выходит. Изо всех углов на меня смотрит грубая, ни с чем не соразмерная проза. Проза, напоминающая грязную мешковину, выброшенную возле бачка с мусором, недозаброшенную в самый этот бачок, как бы говорящую этим, что недостойна она даже лежать в мусорном бачке, рядом со свежими пищевыми отходами и кой-каким приятным в своей деловитости строительным мусором. И именно поэтому я расскажу все как есть. Ведь так оно, в общем-то, и бывает: грубое и материальное рядом с нежным и неземным, хотя.... Ну, кто решится утверждать, что это не игра воображения или (что того хуже) расхивившиеся нервы, или мы вообще (как существа крайне несовершенные) имеем некий изъян в работе органов восприятия. Почему бы и нет?

Но я, как бы там ни было, расскажу про куратора (интеллигентным читателям не путать с прокуратором!). Расскажу, потому что чувствую, что должна запечатлеть, чтобы время или другие какие-нибудь обстоятельства и дела не уничтожили эту крупницу, сотканную из.... Бог его знает, из чего....

Это случилось впервые, кажется, в метро. (Вообще, все происходящее можно объяснить большим скоплением народа или чем-то в этом роде, хотя с другой стороны... вобщем, я не знаю). Да, именно в метро я почувствовала, что то, ни с чем не сравнимое одиночество, какое бывает в толпе незнакомых людей и к которому все мы вполне привыкли, его нет больше. Вместо него появилось чувство, что за мной следят. Нет, не в плохом смысле, как кошка за мышью, в другом. Как будто кто-то, находящийся совсем рядом, но по каким-то причинам невидимый мне, внимательно наблюдает за всеми моими действиями, как будто боится или, точнее, опасается, что я ошибусь, как будто я малый ребенок, несмышленьш. Чувство не слишком приятное! И сначала я попыталась сбросить с себя эту опеку, для этого и перебежала в другой вагон, а потом еще в следующий, как будто спешила очень. (Хотя здесь так никто не делает, уважающим себя людям спешка ни к чему). Но в третьем я уже поняла, что бесполезно, а когда обернулась быстро через плечо, то узрела ее, эту самую улыбку.

Кто улыбался – не знаю, толпа заслонила его, но улыбку я разглядела очень хорошо: она предназначалась мне! Слегка покровительственная, добрая, всепонимающая. Так здесь никто не умел улыбаться! Но я, неверующий Фома, выскочила на своей станции и даже не обернулась! Дура! Хотя, потом, поразмыслив, я пришла к выводу, что тот, кто улыбался, ну, если все это не случайность и игра воображения, обязательно проявится снова. Ну, просто не может быть по-другому, не должно.

Потом я забыла этот случай надолго. И чувство это не помнила почти. Но потом, так случилось, что у меня выдалась минута-другая свободного времени, я и подалась в библиотеку почитать чего-нибудь свежего, чтобы не отстать и не превратиться в овощ. Ну, с этим у меня ничего не вышло, или почти не вышло: поди, разбери их новые правила и порядки, да еще кучу формуляров на малознакомом языке, однако, я все-таки выписала себе одну книжку, которую хотела давно полистать. Открыла, пролистнула и вдруг зачиталась одной главкой, где все вроде бы было вообще, но все – про меня, про жизнь, про стихи, про человеческое. Я даже оторваться никак не могла, хотя время давно уже вышло, и надо было нестись (читай – плестись) куда-нибудь. И тут вдруг тень упала на лист, густая такая, даже строчек не видно стало. Свет в зале горел. Я обернулась. Он стоял в поношенном сероватом дождевике, в шляпе с полями, стоял и смотрел в мою сторону, но не на меня, а куда-то в пространство рядом со мной, и снова – эта улыбка. Я не вздрогнула, меня не обдало ни холодом, ни жаром. Я почему-то устала снова в книгу, хотя читать уже – не читала. Через минуту я поняла, что его уже нет. Мог он выйти через боковой выход? Запросто. Мог перейти в другой зал? Тоже – вполне возможно. Я не стала ломать голову над тем, куда он делся. Ну, делся и делся. Тогда еще меня не посетила эта тоска по чему-то такому, чего и в помине-то не бывает. Хотя.... Легкий приступ интереса, смешанного с раздражением (ну, что там еще на мою голову!), я все-таки испытала.

Когда я вышла на улицу, уже стемнело. Это было неожиданно, ведь мне казалось, что еще день. Всюду мне было уже поздно, и я медленно побрела, стараясь не заглядываться на то, что уже давно приелось, на грязные дома, машины (избыточный рост их численности раздражал все больше), на пустое оранжевое небо (ночное освещение делало его неестественно-ярким), на лица, угрюмо и чопорно зависшие в своей собственной никчемной заботе или, напротив, бессмысленно-веселые лихорадочным весельем недоумков, готовых завестись с пол-оборота. «Дождь что ли пошел бы...», – подумалось вяло.

А дождь ведь уже шел. Тропический ливень не сразу пробил толщу гигантских пальм, переплетенных лианами так густо, что все это смахивало на прохудившуюся крышу. Однако, когда он прорвался сквозь растительный кордон, то мгновенно превратил почву в чавкающее месиво. Зеленоглазый Дрю сидел, скорчившись, на ветке. Это была самая толстая ветка из всех, что были видны ему. Она была так же надежна, как шатер Отца. И Зеленоглазый Дрю стал напевать свою любимую песню про дождь и лес. Он мог остановить этот дождь в любую минуту, мог нагнать новые облака, мог наслать на этот лес тучи бабочек, райских птиц и муравьев. Он мог.... Да, мало ли что он еще мог. Ведь он был Зеленоглазым Дрю, а значит, богом. Он пел, медленно покачиваясь в такт песне, и ветка слегка вибрировала и качалась вместе с ним. И вместе с ним качались и пели другие деревья, и вся сельва замирала и ждала новых и новых звуков, которые приходили к Зеленоглазому Дрю откуда-то сверху, из клубящихся новым дождем облаков. Потом, когда песня иссякла, Зеленоглазый Дрю почувствовал, что хочет есть, рот наполнила обильная слюна, когда глаза его уставились на гроздь созревающих бананов, и он протянул руку так далеко, как ему хотелось. Он сорвал гроздь...

Потом ему захотелось клубники, и он спрыгнул, пружиня всем телом, вниз...

Я пришла к своей единственной на тот момент подруге, чтобы почувствовать, что не все еще потеряно, что есть у нас с ней еще контакт, есть способность мыслить, оценивать, есть силы и желание верить. Во что? А какая разница? Ведь главное – это верить. Знаю, многие будут с этим не согласны, но мы-то с ней хорошо понимали друг друга в этом вопросе, как, впрочем, и во многих других. Вот так мы с ней и просидели три часа кряду, не замечая ничего вокруг, думая вслух (потому что это никак нельзя было назвать разговором в обычном смысле). И все получалось так, что нам никак нельзя было продолжать

жить так, как мы жили, но, в то же время, мы никак не могли жить по-другому. И осознание всей этой сложной чепухи приносило нам небольшое, временное, но, все-таки, удовлетворение. Потом мы разбежались, каждая по своим делам: я пошла к себе домой, она отправилась, кажется, в магазин, а, может, даже и в церковь. Я и на этот раз не рассказала ей про странный случай с улыбкой и незнакомцем, хотя, помнится, хотела, собиралась.

Что делать, когда делать нечего? Что может произойти, если не происходит ничего? И для чего здравомыслящему человеку задумываться над этим, если поделаться ничем все равно нельзя? Вот, пожалуй, и весь круг наших мыслей – если коротко. Иные скажут – молитесь. Но, наверное, это не совсем для нас или просто для кого-то, кто не мы. Ну, пусть себе. Вот, приблизительно, так и было, когда я шла по садовой дорожке. Старые деревья там были еще не спилены и не были посажены новые. Скамеечки покрасили заново, в общем – все как обычно. На одной из них сидел тот, в плаще. Сидел и смотрел, как я прохожу мимо. Молча. Ну, так что же с того, скажете вы? А я просто пройду мимо, и все закончится. Так вы подумали, да?

А, вот и нет!

Я подошла и села рядом.

- Почему вы все время попадаетесь мне на пути?

(Замечу, что здесь не принято заговаривать с незнакомыми мужчинами. Даже и не знаю, как привлекают к себе внимание проститутки, жестами что ли?)

Он обернулся вполоборота и снова улыбнулся.

- Ты ведь сама уже догадалась, – сказал он, не разжимая губ.

Я изобразила полное неведение.

- Я твой..., – дальнейшее потонуло в реве проезжавшего мимо самосвала.

Потом произошел то ли провал в памяти, то ли я просто отключилась. Пришла в себя я уже на улице, мимо неслись плотной толпой блестящие иномарки. (Как же нелепо они выглядели на узких, затерханных улицах!).

Неприятное, скользкое чувство заползло в меня. Для чего мне все это? Новая забота – разбираться теперь с местечковой мистикой! Если это вообще мистика.

Или он просто решил приударить за мной? Ну, нет, – одернула я себя, – слишком не похоже все это на обычные дела, слишком живым теплом веет от его улыбки, живым и честным, как будто он заранее отменяет все возможные варианты человеческих проявлений, кроме, пожалуй, одного, почти забытого – просто любви.

В тот день я еще долго кружила по улицам, никого не замечая. Меня, впрочем, тоже никто не замечал.

Говорят, Бог наказывает человека, исполняя его желания.

Наверное, я пожелала, сама того не ведая, чтоб все вернулось в свое русло.

Старый хомут шеи не трет.

Незнакомец больше не появлялся, улыбка исчезла из этого города.

А как же, скажете вы, мечты о поездке, старая знакомая, снег?

Ну, съездила я туда. Съездила и – вернулась. А снег, он везде – снег, хоть тебе в Турции, хоть, где еще. Жаль только, не знаю, какого цвета были глаза у того – не разглядела.

## «ТЫ ЗНАЛ МОЕ ИМЯ...»

«Сегодня я решила. Пошла и скупила все иллюзии. Потом не смотрела долго в зеркало, не позволяла себе заплакать, не позволяла взять телефонную трубку, хотела съесть кучу сладкого. Так ведут себя неуравновешенные люди и люди, которым нечем занять свое время.

Но время ведь не свое и не чье-то. Очередная иллюзия. У нас вообще нет ничего своего, и мы сами – не свои. И среди всего этого хаоса вдруг сделалось понятно – что-то сместилось, что-то уже не совсем, как прежде. Может, где-то боковым, что ли, зрением замеченное, появилось, может, облако какое-то лишнее, может, цвет какой-то не такой, или свет, падающий из окна, или еще что-то. Именно поэтому, я думаю, мне захотелось обо всем рассказать кому угодно.

Пусть он, этот кто угодно, ничего не поймет, ему и не надо. **Но слова, мои слова, неумирающие, как коконы, хранящие за своей оболочкой мой смысл, я хочу, чтоб они остались.** Зачем мне это надо? Сама не знаю. Может, потому, что я не могу осязать тебя иначе, чем словами. И пусть они живут в тебе и вокруг, а меня – меня пусть рядом не будет».

Племя Аку передвигалось по зарослям, разбрасывая вокруг белые лепестки тех странных цветов, что росли в очень глубоких дебрях. Их полагалось собирать одной цветущей ночью, когда воздух вздыхал и терпко дышали деревья, и молчали затаенно птицы, и только луна выкатывала свой одинокий глаз. Племя никогда не знало, когда наступит эта ночь, но ожидание было для них едва ли не лучше самой ночи. Собранные лепестки необходимо было медленно разбрасывать, чем медленней, тем – лучше. А путь, по которому они шли – был всегда другим. Он был мудр, Тот-кто-шел-вперед, поэтому и в этот раз племя остановилось на ночлег лишь тогда, когда лунные лучи прикоснулись к краешку верхнего дерева на скале, а пение древесных лягушек стало громче. Племя расположилось на круглой поляне, Тот-кто-шел-вперед, Та-что-жила-во-сне и Те-кто-ждали-имен разложили теплые накидки на траве, и сон догнал их на этот раз быстрее.

Великая мудрость.

То, что названо, не может жить долго, и вскоре умрет. Те, кто получают имя, могут открыть его только одному человеку: мужчина – женщине, женщина – мужчине. Узнающие имя становятся близкими, как песок и вода, и смерть не достанет их.

«...Сегодня – по тем самым улицам, по которым проходили, наверно, сотню раз. Ты и я. Ты и – я. Пусть пыль занесет наши дороги, вечная пыль непонятных материков, неизвестных стран, я так хочу понять это время, но ты идешь мимо меня и только лишь слегка поворачиваешь голову в мою сторону...

Боже, сохрани мне рассудок, чтобы я могла еще быть тебе полезной, когда ты устанешь от долгого пути...»

\* \* \*

Я не знаю, почему мне показалось, что именно в этом дворе должен быть тот дом. Просто смутно забрезжили какие-то формы, что-то похожее на то, о чем говорилось когда-то. Поэтому я все-таки вошла в ворота, хотя они трудно открывались, и постояла в растерянности перед закрытой дверью, той, что когда-то была выкрашена голубой краской поверх белой, тронула очень старую медную ручку. Дверь не открылась, занавески на окнах, вопреки ожиданиям, не качнулись, и вообще не произошло ничего особенного, и даже простого, обыденного: не залаяла собак, не шелохнулось дерево возле забора, даже кошка не пробежала за углом серой татью. Я просто стояла и ждала, но потом все-таки повернулась, чтобы уйти...

Редакция послала меня на поиски этих старых писем. Они принадлежали женщине, которая, наверно, была близка с Поэтом. Надо было отыскать письма, если не ее самое, и написать о той части его жизни, которая еще оставалась в некоторой тени. На единственной сохранившейся фотографии Поэт стоял на крыльце старого дома, возле ног – лежала собака.

Найти дом, не зная адреса и особых примет, не представлялось возможным. Я позвонила Беркутову, чтобы объяснить ситуацию, но мобильник почему-то отключился, и мне пришлось бежать в метро – отыскивать автомат.

– Тогда езжай в библиотеку – там должны быть какие-нибудь архивы, – прокричала старая трубка голосом Беркутова. Задание это оказалось неожиданным – я должна была подготовить небольшой очерк об одном сановном деятеле от искусства, но деятель внезапно отбыл куда-то, кажется, за границу, и тут вспомнили, что здесь жил когда-то Поэт.

Вагоны метро подходили с ритмичным грохотом, потом, свистя и звеня электрическим звоном, поезд стоял в ожидании пассажиров и снова, грохоча, уносился в тоннель.

Я пропустила уже четыре. Но почему-то все не могла решить, куда ехать. Время вдруг стало расплываться, и мне казалось, что, если я выйду сейчас на улицу – окажется, что уже вечер.

Со следующим поездом пришло решение ехать, но не в библиотеку, а к одной старой знакомой, у которой когда-то в доме видела портрет Поэта, и что-то смутно стало вспоминаться, что-то о каком-то знакомстве то ли ее с ним, то ли его с кем-то еще...

– Да, мы были знакомы... – Марина Андреевна медленно положила на стол фотографию, рука ее слегка задрожала, – одно время наши встречи даже носили регулярный характер.

Она помолчала. – Вы, возможно, ждете от меня признаний... Чего-то особенного. Но ничего не было, ничего, кроме, наверно... слов.

Слегка прикоснувшись пальцами к портрету, она погладила это лицо, ставшее уже другим от времени, что разделило ее, сегодняшнюю, и его, тогдашнего.

Мне не хотелось спрашивать о письмах. Для нее он был все еще здесь, рядом, и это была ее жизнь.

Она проводила меня до порога, постояла в дверях, пристально и близоруко разглядывая что-то за моей спиной.

– Приходите еще, я постараюсь вспомнить что-нибудь интересное.

Время пролетело быстро, меня отвлекли дела, новые задания, срочность и неотложность которых добавили лишь растрепанности в мозгах и неудовлетворенности в душе. Но так бывало всегда, когда я занималась такого рода работой, и я не роптала.

Однако у судьбы свои планы, и есть иногда в запасе это приятное слово «однажды». Однажды...

\* \* \*

*...Когда племя проснулось, ночь уже шла на убыль. В предрассветной мгле постанывали голоса черных птиц, шевелились кусты, слегка колебался воздух на открытом пространстве поляны. Они молча вставали и сворачивали теплые накидки, и встряхивались ото сна, и снова вспоминали о том, кто они и зачем идут по зарослям.*

*Путь ждал их, они ждали его конца и ждали того, что случится в конце пути – своих имен...*

В библиотеке, как и ожидалось, почти ничего не было. Странно, поэт прожил здесь два года, но, видимо, это был не самый лучший период в его жизни – он ничего не писал. Два три письма к близким, бытовая записка по поводу какого-то участка, где есть сарай и конюшня, заметки на полях одной книги – вот, пожалуй, и все, что обнаружилось. Я почувствовала себя обманутой.

Мне казалось, что должно было быть что-то еще, хоть намек, хоть малая крупица – ведь все-таки это был Поэт, не мог он жить так просто изо дня в день, заботясь лишь о хлебе насущном. Когда я несла полученные материалы к стойке, чтобы сдать их, то вдруг заметила, что не одинока в своем интересе к личности литератора. Невысокий старичок в потрепанном костюме, однако, с чистым лицом и ясным взором, остановил меня.

– Я вижу, вы интересуетесь Поэтом, но здесь мало что есть. Если ваш интерес не праздный, а я смею надеяться, что это так, – он весело и хитро улыбнулся, – то я смогу вам помочь.

Конечно, я пошла с ним. Казалось, что кто-то или что-то настойчиво зовет меня назад, в то время, словно там хранилось что-то очень важное, и не для газеты, а лично для меня.

Мы поднялись по полутемной лесенке, дверь открылась с трудом. Старик сразу же предложил мне чаю. Но мне хотелось увидеть то, за чем я шла сюда. Тогда он положил передо мной ветхую папку.

Это были стихи – целый цикл. Записанные на отдельных листочках, местами карандашом, как бы наспех.

Старик хранил их, как память о друге. Я стала читать – и не узнала Поэта. Он редко писал о любви: это был интеллигент, трезвый констататор своего времени, насмешливый словесный провокатор, его ценили за острый ум и точную, емкую строку.

Здесь же была чистая лирика, лирика, которой, возможно, позавидовали бы многие поэты его времени, но – он ли это вообще? Старичок улыбался:

– Нравится?

Я молча кивнула.

– Он, знаете, не хотел, чтобы это читали, говорил, что отдал бы их только одному человеку, да вот не пришлось,... а теперь, когда время ушло, я думаю, это уже не важно... Он задумался.

– Вы мне позволите переписать их? Хотя бы некоторые?

Он позволил. Теперь передо мной лежали эти стихи, а мне хотелось зареветь, ткнувшись в чье-нибудь теплое плечо. После стольких лет, не найдя адресата... Какая идиотская нелепость! Ну и что, что мы с детства привыкли к сказочкам со счастливым концом. Конечно, все на самом деле проще, грубее и обыденнее.

\* \* \*

Беркутов вспомнил о письмах через две недели. Отпираться не имело смысла, и я снова поехала туда, в тот дом, где, может быть, бывал Поэт, и где должны были бы храниться письма.

Марина Андреевна была на этот раз разговорчивей, казалось, она уже смирилась с тем интересом, который могла вызывать у посторонних личная жизнь ее друга. После минуты разговора я решилась спросить про письма.

- Те, что мы писали друг другу, я не стала хранить: мне кажется, это не представляло такого уж интереса. А вот другие... те, что ему написала она... Возможно...

Она встала и вышла в другую комнату. Я молчала, боясь помешать ей, хотя было ясно, что я ничего не знаю о том, кто эта «она».

Марина Андреевна положила передо мной тонкую пачку. Писем было совсем немного, конверты простые, без адреса. Сверху – одно слово, написанное от руки – «Тебе».

Боясь разочарования, я не решилась читать их сразу и попросила разрешения взять с собой. Это могло быть что-то личное и малоинтересное кому-то еще. Кроме того, читая чужие письма, всегда испытываешь жалость вперемежку с чувством стыда и за себя – потому что прочел, и за того, кто писал: чужая откровенность, если она обращена не к тебе, редко нравится.

\* \* \*

*...Гора приближалась с каждым днем, она уже была видна над верхушками самых высоких деревьев. Днем эта серая глыба, колеблющаяся в раскаленном воздухе, казалась страшно далекой, ночью слабое свечение, исходившее от нее, приближало гору, и она нависала над племенем неизбежностью конца пути...*

«...как жить дальше. Теперь ты знаешь все. Но это – все равно не все. Как объяснить тебе те перемены, которые происходят во всем мире, в пространстве и времени, когда ты произносишь мое имя, когда я думаю о тебе, когда я понимаю, нет, не я – все вокруг, что мы должны быть...

...наверно, есть закон. Мы еще не скоро узнаем об этом».

\* \* \*

Я никак не могла взяться за написание этого материала. Я прочла письма, вернее, прочла два, остальные просмотрела: они были не плохи – романтика вперемежку с эзотерическими размышлениями в духе времени. Но я не знала, за что уцепиться, что поставить во главу угла: в своей официальной жизни поэт никогда не посвящал ей стихов, во всяком случае, об этом не было известно, возможно, они даже не виделись.

Марина Андреевна согласилась встретиться со мной еще раз: я очень надеялась, что смогу узнать на этот раз если не все, то главное: без этого писать материал не имело смысла.

...Я вышла от нее поздно вечером. Я не была потрясена, заинтригована или разочарована – мне просто стало ясно, что написать правду я не смогу. Засев за бумаги, я стала выкручиваться, как умела: процитировала стихи Поэта, стихи классиков, рассказала о том, как прост и непритязателен был Поэт в быту, что он любил, чего избегал, как общался с друзьями. Его личная жизнь должна была остаться «за кадром», и, кажется, мне это удалось.

Разъяренный Беркутов ждал меня на следующий день в кабинете.

- Мало того, что ты невероятно затянула с этим делом, так ты еще и не справились с ним! Тебя ведь просили найти письма, разобраться с двумя женщинами – не такой уж большой труд. А здесь, - он махнул рукой в сторону моих бумажек, - ничего не ясно. Кто она – любовница, подруга, гражданская жена? Или... в конце-концов – полигамия, и все такое... Ты ж не маленькая, понимаешь. Факты! Мне нужны факты!

...Я вышла из кабинета и засмеялась. Любовница... Бедная девочка! Я шла по улице, полной крутых полигамных придурков, бодро шагающих мне навстречу, и продолжала смеяться.

Потом, на другой день, я сложила листочки с письмами и стихи в одну папку – мне хотелось, чтобы моя нехитрая магическая уловка соединила эти две души хотя бы на бумаге. Хотя какое мне было дело до всего этого? Просто нервы – и ничего больше.

\* \* \*

«...теперь я знаю, это – все, что было мне уготовано. Но я все равно надеюсь, что что-то изменится, сместится, сдвинется в мире. Ведь одно чудо уже было – ты знал мое имя».

\* \* \*

Корнями уходя, древесная игра  
все ближе – память, все сильней – обманы.  
Ты знаешь – мне давно уже пора  
сказать тебе, как рубцевались раны.  
Блаженство листьев и травы – смятенье,  
бег времени и правды окоем.  
А там – и небо – синее брожение,  
забытый кем-то плащик за углом.  
Овчинка с выделкой, которой миг не стоит,  
не плачь, любимая, ведь мы всегда вдвоем.  
Когда вокзала мимо счастье бродит,  
какая разница, кто в тамбуре поет.  
Ты здесь. Ты здесь... слова меня минуют,  
и остается в памяти порог,  
крутой, как Эверест, как боль, бездумный,  
тот, что воздвигнут был из первых строк.

\* \* \*

Я не был миром, в мире – тоже не был.  
Словесный хлам, минувшее да – пыль.  
Простись со мной, растроченное время,  
неверное, в котором я – не жил.  
Все на потребу – мысли, дни и чувства,  
жизнь-пагуба к итогу подвела:  
никчемен жест, бедой горчит искусство.  
Но ты – во мне – была, была, была!

\* \* \*

Сойдя с ума, не вспомнишь ни о чем,  
но градусник покажет снова «вето».  
Терпение, молчание о том,  
что есть она, любовь, на этом свете.  
Я глаз твоих запомню странный всплеск  
и жестов тягостную беспокойность,  
и то, что я тобой переболеть  
так и не смог, не потревожив совесть.

*...А ты получаешь имя Дон, а ты – Нат, а ты – Селин. Золотистый загар соплеменников светился в ночи. Та-что-ждала-раньше-имя подошла к Тому-кто-был-уже-здесь.*

*– Меня зовут Эл.*

*– Меня зовут Ин.*

*Они ушли вместе. Эта ночь не была последней.*

## МАЛЬЧИК ТЬЕРРИ

...просто потому что хотелось написать рассказ и не хотелось заканчивать уже начатый когда-то, так как в этом случае пришлось бы раздумывать над тем, как герой и героиня встретятся, для того, чтобы осуществить свои крайне сложные взаимоотношения, а затем, ничего путного не свершив, не родив даже ребенка и не написав ни одной приличной книги, истории или картины, разойдутся в разные стороны. Просто поэтому он и появился. Не знаю, кем он был, возможно, он был турок. Его черные глаза говорили о том, что он родился в южной части полушария, может даже, совсем близко к экватору. Может, в его происхождении замешаны были египтяне или индусы. Хотя повадка его, кроткая, веселая, ненавязчивая заставляла думать больше о воспитанности европейца или сдержанности северных народов.

Как бы там ни было, он появлялся на старой веранде, ставя свои коричневые ступни, обутое в кожаные грубые сандалии, слегка по косой, так, будто занимался в балетном классе. Но я думаю, он приезжал сюда на велосипеде, который оставлял в кустах, сразу за домом. Об этом говорили его хорошо развитые икроножные мышцы, некоторая сутулость и разбитые, поцарапанные коленки. Он просто появлялся из глубин сада, поднимался на пять ступенек и, оставляя за спиной, ещё где-то в саду, энергические всплески своей необузданной молодости и здоровья, садился на краешек ветхого плетеного стула. Я даже не всегда успевала предложить ему это. Сказать, что мы вели пространные и серьезные беседы – так этого не было. Мы больше молчали, глядя на закат: он был отлично виден с того пригорка, на котором стоял дом. И деревья, что росли вкруговую возле него, ничуть не заслоняли удивительные краски, которыми небо окрашивалось каждый раз под вечер.

Он, мне кажется, умел любоваться закатом. Во всяком случае, его не одолевало беспокойство, так часто возникающее от неподвижного сидения у молодых людей его возраста. Его звали Тьерри. По крайней мере, такое имя мне послышалось, когда я как-то (нет, вовсе не сразу) спросила, как его зовут.

– Яблоки в этом году, пожалуй, самые крупные..., – сказал как-то Тьерри, слегка развалясь на стуле. Мне показалось, он сегодня переусердствовал с велосипедом. Стул под ним предостерегающе скрипнул.

– А ты помнишь все яблоки, которые видел за всю свою жизнь?

– Ага...

Рассеянно и как о чем-то само собой разумеющемся.

– Хочешь лимонаду?

Но он почти всегда отказывался от угощения. И мы молча сидели на веранде до самых сумерек. Так проходило время.

Время, да... Мы могли бы позволить себе с ним пространные рассуждения о времени, но мы не знали, что это такое. Так, во всяком случае, я чувствовала на тот момент. Равно как и о том, что такое жизнь и что такое судьба, и что такое чувство, остывающий пепел которого не слишком меня тревожил, вызывая разве что праздное любопытство, которое мог бы испытывать всякий сторонний наблюдатель. Мне казалось, что если я спрошу у Тьерри о чем-то таком, он ответит и ответит именно так, как мне и нужно, но, может, именно поэтому я ни о чем у него не спрашивала.

Тьерри приходил не слишком часто. Но и не так редко, чтобы я могла начать забывать о нем или просто обеспокоиться отсутствием. Хотя, о каком беспокойстве могла быть речь, ведь он пришел ниоткуда. Я не знала о нем ничего, кроме того, что он есть, и что он время от времени сидит на моей веранде, поглядывая на закат и перебрасываясь со мной парой-тройкой фраз.

Однажды случился сильный ветер. Летом его, как правило, не бывает. Но тут три дня подряд дуло что-то невообразимое. Веранду вместе с домом сносило куда-то на сторону, а крыша гудела так, как будто над ней проносились реактивные истребители. Когда это все-таки прекратилось, я выглянула в сад. Многие деревья оказались с переломанными ветками. Трава полегла, как будто ее пригладили утюгом. Почти все яблоки и сливы попали на землю. Но закат обещал быть тихим, и я надеялась, что Тьерри придет посидеть на веранде. Он и пришел. Как всегда неожиданно возник на дорожке между деревьев. Я заметила, что он прихрамывает. Он сел на скрипнувший под ним стул и тяжело откинулся на спинку. Руки его повисли вдоль тела. Мне хотелось спросить, что с ним, но он сам все объяснил.

— Я случайно въехал в придорожную канаву и сломал колесо.

Мы по-прежнему ни о чем не говорили. Но сегодня меня одолело беспокойство, и мне хотелось спросить у него: как же так? Почему? К чему все это? И, наконец, есть ли, будет ли хоть какой-нибудь выход, хоть какой-нибудь положительный результат у всего этого? Я посмотрела в его сторону: он уже встал и стоя

смотрел на небо. Закат был сегодня какой-то ослепительный, золотой и багряный одновременно. На фоне пылающего неба силуэт Тьерри казался черным. Мне почудилось, что над ним, где-то на уровне плеч или чуть выше колеблется что-то легкое, овальное, перистое. Два легких опахала. Одно, впрочем, показалось мне надломленным. Но он пошевелился, повернулся ко мне и засмеялся. Свет бил мне прямо в лицо, я зажмурилась от боли в глазах – так он был резок.

– До свидания, до встречи...

Голос удалялся в сторону деревьев. Я открыла глаза.

Я не увидела Тьерри в моем саду. Закатное небо продолжало пылать.

## ПЕРЕВОДЫ С ГРУЗИНСКОГО

### Ника ДЖОРДЖАНЕЛИ

#### ПАМЯТИ ЖИВОГО

Лежишь с телеграммой, которой лет двадцать,  
в руке,

На той стороне, где потом остановится  
сердце.

И гвоздь попадет не в ладони, не в стопы  
тебе.

Прямехонько в лоб тебя ждет попадание это.

И все ж не признаешься: вот он, ничтожный  
конец.

Античной трагедии суть ты собой усугубил.  
И плачешь, порой, как гетера, которую спец  
Насильно увез из Европы в бордели  
Стамбула.

И пара коньков подломилась в мозгу на бегу.  
Без света живя, ты глазеешь на свет маяков.  
И всё – всё равно: то ли в зеркале видеть  
тоску,

А то ли взирать на нее из него.

#### НЕ РАЗ УСЛЫШАННОЕ

Тишина я и слышу могильные вопли  
И влюбленных исчезнувших грустное пенье.  
Есть во мне, пришвартована к берегу, лодка,

Что качается, видимо, брошена всеми.

Есть во мне лебединый изгиб и закрытость  
одиноких, в себя погрузившихся глаз.

Есть черты, имена и слова. Это - свита,  
Тех, кто были до вас.

Брань любая и пули, стрельбою чреватые,  
От которых ушел ненароком счастливец.

Брань любая и пули, стрельбою чреватые,  
Обретают во мне назначение свыше.

Между вещью и пылью – ни время, ни выбор,  
Только жажда движения пыли к сверхвещи –

Я – подруга немого зародыша, в сырость  
Помещенного с трупом в могильные клещи.

Я – последняя мысль обо всем, что бывает,  
Мысль, которая больше не тянется к слову.

От меня разбегаются части, куски и детали,  
Я их целое. Птиц осуждающих гомон

Не прервет восхищенья дивящихся чуду.

Буду только минутой торжественной в зале,  
Буду памятью вечной. С враждующим

солнечным кругом

Не вступлю в пререканья, отвечу ему лунным

светом печальным.

До музыки живой я была, как живая,

Хоть и чтит меня ныне замерзшая на зиму

муха,

Просто музыка есть тишина, но такая,

При которой уже не случаются звуки.

И при чем же здесь я? Какого вы ждете

спасенья?

Если каждый, кто начал, в меня

погружается сразу,



\* \* \*

Я под конец сидел у моря на песке,  
отужинав со шлюхой, что в тоске:  
любил пират ее когда-то. Вот, лечу  
и вспоминать о друге не хочу.

А за спиной – и ветра, и ветра,  
печаль не сдувшие. Усталые цвета,  
усталый меч и сердце позади,  
и род людской – разъятый андрогин.

Земля мне загрязняла неба свет.  
В багровых облаках Исиды след.  
Лечу над волнами, на море легкий бриз,  
барашков белизна, искрящей синевы каприз.

Касаюсь кончиками пальцев ног воды,  
так мифы древности, что памятью тверды,  
тревожат разум. Там, где ал закат,  
ждут облака, в себя вобрать хотят.

Лечу. Забыты все, желаний нет.  
Судьба и карма – просто бледный след.  
Из замкнутого круга ухожу,  
где власть пространства – жизни нет орлу.

Ход волн миную, оставляя позади  
прохладу тайны шевелящихся глубин  
никчемной. Время оставляю,  
пространства полые, как крылья, примеряя.

Лечу. Холодный воздух, небо – синька.  
Сейчас понятно стало, наша бытность  
в себе носила часть небытия.  
Силен впервые, друг пространству я.

Я удивлен, движенья мне легки,  
не тяготят премногие грехи.  
В шатре вселенной двигаюсь так просто,  
без рук раскрытых и без крыльев плоских.

Остаток солнца – алый гребешок,  
пронзивший облака истаявшего воск.  
Ногой на чуткую беспочвенность ступая,  
уже пешком я путь свой продолжаю.

Звезд не видать, планет не видно тоже,  
нет ангелов, что с небесами схожи.  
Но Бог глядит, дорогу ту храня,  
где начат путь, где кончилась земля.

ЗЛО

Хоть ни двора, ни дома, ни кола  
у нас совместного, но линия свела  
на древе жизни нас. Мы думали, однако,  
умрем один в один, и  
часовня света вспыхнет вслед секунде мрака,  
виденье белых стен и Дамиан.

Так думали мы, в трудном раздвоенье  
друг с другом, но пришло прозренье:  
так просто не попасть за тридевять земель.  
Другие давно ушли, найдя себе подобных,  
в простуде зябкой монументы стыли.  
А солнце двинулось, явившись в ночи окнах.

Наверно, думала сначала ты, как я:  
в разлуке нашей есть вина дождя.  
И нашей близости не хочет снег...  
Не снег, не дождь, узнали мы с тобой,  
а что-то, что змеей скользнуло вслед,  
а что-то, что решило быть судьбой,  
мешает нам, страшует наш провал,  
взрывает воздух, воду, перевал  
в горах кривит в жестоком катаклизме. Ждешь  
меня ты тщетно. Но наступит ясность,  
и брызнет цвет с дворов и улиц, с влажных крыш,  
о, только б ты в окне стоять осталась.

На этом свете крыши...города...  
и расстояние, что держит врозь –  
след меткости, гвоздившей руку Бога.  
Мгновенно выросшая между нами пядь,  
есть пядь земли, закрывшая дорогу,  
боль той ладони, что болит опять.



© Периодическое издание «Ассоциации  
литераторов – АБГ» и лито «МОЛОТ О.К.»  
(Тбилиси, Грузия) <http://abg-molotok.ge>  
Эл. почта: [abgl@yandex.ru](mailto:abgl@yandex.ru)  
<https://www.facebook.com/abg.molotok>

Издаётся на средства редколлегии

**Редакционная  
коллегия:**

Сусанна Армянян,  
Ада Джилавдарова,  
Анна Шахназарова,  
Николай Ломидзе,  
Дмитрий Лоскутов,  
Михаил Ляшенко.

*Рукописи  
не возвращаются  
и не комментируются.  
При перепечатке  
материала ссылка  
на данное издание  
обязательна.*